

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Николай Островский
**КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
СТАЛЬ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Николай Островский
Как закалялась сталь

Издательство «Детская литература»

2005

Островский Н. А.

Как закалялась сталь / Н. А. Островский — Издательство
«Детская литература», 2005 — (Школьная библиотека (Детская
литература))

Автобиографический роман о молодом герое первых лет революции и
Гражданской войны, о его жизненном и творческом подвиге. Для старшего
школьного возраста.

© Островский Н. А., 2005

© Издательство «Детская
литература», 2005

Содержание

Обрученный с идеей	7
Как закалялась сталь	27
Часть первая	27
Глава первая	27
Глава вторая	36
Глава третья	46
Глава четвертая	60
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Николай Алексеевич Островский
Как закалялась сталь
Роман



Н. А. Островский

1904-1936

Обрученный с идеей

Шедевр ли эта книга?

Да.

Чем? Техникой?

Нет.

Мате Залка

Судьба книги Николая Островского не менее поразительна, чем его собственная судьба.

В 1930-е годы говорили: секрет – в биографии автора. В 1940-е и 1950-е: все дело в писательском мастерстве. В 1960-е: ни в одной другой книге не воплотился с такой яркостью романтический дух 1920-х.

На рубеже перестроечных 1990-х точка отсчета сменилась: теперь Островский был порождением сталинизма, моделью фанатической одержимости, «винтиком машины»... если не тем самым топором, от которого во время оно летели щепки.

Вот та же карусель в малом варианте. Моя работа об Островском в 1965 году была забракована как невозможная к печати и враждебная по идеям. В 1971 году выпущена в свет в изуродованном виде, но и в этом виде объявлена на комсомольских инструктажах того времени клеветнической, а в печати – путаной и субъективной. В 1981 году она же – премирована Грамотой ЦК комсомола. В 1988-м объявлена в «Комсомольской правде» лучшей работой об Островском за последние десятилетия. В начале 1990-х годов она казалась иным читателям недостаточно радикальной и недопустимо апологетичной по отношению к одному из основных «мифов» сталинской эпохи.

Даже и из одного упрямства я отказываюсь вертеться в этой флюгерной карусели. Хватит того, что в 1965 году я начинал писать об Островском, чувствуя, что у меня зажат рот; чуть не полвека понадобилось, чтобы мне дали договорить то, что я хочу; далее я не сойду с этой точки; я готов уточнить формулировки, додумать следствия и осознать дальнейшие перемены климата вокруг моего героя, но я не сдвинусь с той позиции, на которую встал сразу: «Как закалялась сталь» – ключевая книга советских лет нашей истории, в ней – разгадка того, что произошло с нами и Россией.

Дело, разумеется, не только в биографии (хотя и в ней), ибо жизнь Островского – это жизнь тысяч его современников и соратников, а исповедь, пронявшую миллионы, написал именно он.

Мастерство еще меньше прояснит тут дело (хотя Островский яростно учился «литтехнике» у «спецов»), ибо в ту же невеликую меру мастерства работали еще сотни его современников и коллег, литературных ремесленников, ударно призванных в литературу, но эмблемой эпохи стала именно его книга.

Славный романтический дух в ней, конечно, воплотился. Но вот теперь самый дух этот перевернут в нашей эмоциональной памяти, а истоки его по-прежнему не очень ясны историческому разуму. То есть масса факторов известна: нетерпимость, репрессии, гибель крестьянства, лагеря, иллюзии, ложь, но духовный поворот, сделавший все это возможным, все еще таится во тьме.

Островский интересен именно как человек, своею судьбой преподавший нам не столько эмпирический, сколько духовный урок. «Красное житие», – сказал бы я, если бы хотел объяснить его явление людям верующим. Есть вещи, равно значимые и для верующих, и для считающих себя атеистами, то есть для перевернувших веру. Перед нами тот самый случай. Жизнь Островского – это демонстрация того, как выстраивается целый мир. Не миф, а мир!

Мир этот выстраивается на определенном духовном принципе (хотя и без Бога) и торжествует «на шестой части суши» достаточно долго в качестве почти осуществившегося царства справедливости и безусловно осуществившегося для его строителей счастья. Этого достаточно, чтобы, во всяком случае, не пренебречь «строительным материалом» («гвозди бы делать из этих людей»), благодаря которому все это строение стало реальностью.

Сегодня все это и впрямь может показаться мифом, мороком, обманом. Но это не так, вернее, не вполне так. Мифология «оформляется» сверху только тогда, когда она ожидается снизу. Морок поднимается – от почвы. «Обман» есть всегда и самообман: готовность поверить, желание поверить, жизненная необходимость верить. Островский – не миф, насажденный сверху (хотя и сверху насаждали). Островский – легенда, выношенная внизу.

Успех

Критике никогда не приходилось продвигать к читателям роман «Как закалялась сталь». Критике всегда приходилось объяснять его успех. Невероятный, парадоксальный, загадочный, этот успех был в то же время настолько естествен, повсеместен и неудивителен, что, казалось, ему и не надо искать объяснений.

В прозаических фрагментах Пастернака есть запись 1943 года. Поездка на фронт, чтение стихов, разговоры с бойцами. «Когда после Мценска наши части освободили тургеневское имение Спас-Лутовиново, комсомольцы отличившихся частей устроили в разрушенном заповеднике торжественное собрание. Естественно, посвященное памяти Тургенева... оно *каким-то образом* (здесь и далее курсив мой. – Л. А.) связалось с именем Николая Островского». Самое удивительное в этой записи – отсутствие удивления. Это психологическая аксиома 1930-1940-х годов. Можно говорить о чем угодно: о тактической схеме боя и о мистических свойствах германского духа, о судьбе лейтенанта Шмидта и о смерти тургеневского Базарова. Потом «каким-то образом» начинают говорить о Корчагине. Без переходов и причин. Этому никто не удивляется: в герое Островского есть нарицательность, которая давно оставила позади всякие объяснения.

Когда десятки миллионов экземпляров его книги гуляют по всему миру, трудно представить себе что-либо другое. Трудно представить себе, какие были сметены этим потоком препятствия. А ведь поначалу не было и самих препятствий, а было одно гробовое молчание всей профессиональной критики: год, два года – и тоненькие книжки «Молодой гвардии» с романом Н. Островского неслышно затерялись в шумном литературном гомоне 1932 года.

И еще раньше, когда неслышный этот ручеек, которому со временем суждено было затопить сознание полумира, натянулся нитью, тонким волоском, каждое мгновение грозившим оборваться... И он обрывался... и возникал снова с какою-то неотвратимостью.

Первый вариант романа Николая Островского не доходит до издателей: в начале 1928 года рукопись утеряна почтой.

Он пишет все заново.

Новая рукопись, посланная в Ленинград, безответно исчезает в недрах тамошнего издательства.

Он отдает один из последних экземпляров своему другу, И. Феденеву, и просит отнести в издательство «Молодая гвардия». Феденев относит и быстро получает ответ: рукопись забрана по причине «нереальности» выведенных в ней типов.

Островский лежит навзничь в Мертвом переулке, в переполненной жильцами комнатке, и лихорадочно ждет решения. Ему двадцать семь лет, остается жить – пять.

Потрясенный решением издательства, Феденев просит вторичного рецензирования.

Рукопись ложится на стол к новому рецензенту – Марку Колосову. Стол стоит в редакции журнала «Молодая гвардия», где Колосов работает заместителем редактора.

Впоследствии М. Колосов напишет воспоминания о том, как Феденев закоченевшими от холода старческими пальцами вынул из папки рукопись и как с первых строк Колосова покорила ее сила; как ждали молодогвардейцы *именно эту* вещь и как, не отрываясь, *проглотил ее* заместитель редактора. Эти воспоминания написаны много позднее, когда миллионные издания романа уже сделали имя Островского легендарным. В начале 1932 года все выглядит иначе. 21 февраля Феденев приводит Колосова к постели Островского. В этот момент решается его литературная судьба. В разговоре трех человек соединяется, как в фокусе, и грядущее возвышение Островского, и драматизм этого возвышения, и предопределившие его ход противоречивые силы.

Три участника этого разговора оставили о нем свидетельства.

Николай Островский записал на завтра слова М. Колосова: «У нас нет такого материала, книга написана хорошо, у тебя есть все данные для творчества. Меня лично книга взволновала, мы ее издадим».

Марк Колосов из все троих – единственный профессиональный литератор; журналу нужен «такой материал»; решившись одобрить рукопись, Колосов выбирает осторожные формулировки: «меня лично...», «есть данные...». Далее он (по его собственному тогдашнему свидетельству) начинает, запинаясь, «говорить о достоинствах и недостатках», а потом, осмелев, говорит о недостатках во весь голос.

Другой участник разговора – Иннокентий Феденев, старый сибиряк, подпольщик, член партии. И если самого Островского сковывает в разговоре болезненное авторское самолюбие, а Колосов с неизбежностью натывается на каждом шагу на профессиональную неделанность текста, то Феденев свободен и от авторских чувств, и от профессиональных литературных предрассудков; и вот этот старик безошибочно чувствует: «неделанный» текст таит в себе силу, которая действует помимо и поверх всяких профессиональных «за» и «против». Свидетельство Феденева: «Я помню то совещание, которое было на квартире Николая Алексеевича... Тов. Колосов тогда сделал очень много замечаний, настолько много, что напрашивался вопрос о переделке книги, и Колосов предложил, чтобы Николай Алексеевич взял на себя переделку этой книги. Я же считал, что этого не нужно делать, и возражал против этого. Николай Алексеевич и Колосов со мной согласились, и это было правильно».

Разговор – в феврале.

В апреле журнал «Молодая гвардия» помещает начало романа. Он печатает его маленькими кусочками, растягивая публикацию. В сентябрьском номере «Как закалялась сталь» завершена. Остальному предстоит свершиться.

Идет 1932 год.

Это год шумной и повсеместной перестройки литературы, когда во всех ее прослойках и группах нервное возбуждение, продиктованное ожиданием перемен, доходит до последней степени и члены многочисленных писательских ассоциаций и групп, готовясь к этим надвигающимся переменам, критикуют себя и своих оппонентов, яростно размахивая кувалдами резолюций. Уходит в прошлое эпоха 1920-х годов с ее групповой чересполосицей, с ее бурной самодеятельностью маленьких, средних и больших ассоциаций, кружков и кружочков, с ее бесконечной нетерпимостью и мгновенными сенсациями, с ее классовыми ступенями, трещинами, пропастями, платформами и мостами, с ее многочисленными теориями. Воцаряется новая эпоха в литературе – эпоха всеобщей государственной консолидации. И вот уже знаменитое постановление ЦК партии от 23 апреля 1932 года разом пресекает деятельность всех групп и ассоциаций, начиная со свирепого, измучившего всех РАППа¹ и кончая последними

¹ РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей – 1925–1932) – массовая советская литературная организация. Стремясь руководить творческим процессом, борясь за партийность литературы, руководство РАППа прибегало к грубым окрикам и командам.

попутническими пристройками, и в это новое, объединенное, освобожденное от старых колючек, перепаханное, ожидающее поле падают семена простых, общих для всех лозунгов: единый союз писателей, единый принцип – правда, единый метод – социалистический реализм. 1932-й – год великого перелома в литературе.

Журнал «Молодая гвардия» в этом процессе – наособицу. Здесь, в журнале комсомола, тоже свой мир, несколько отделенный от того котла, в котором варится профессиональная литература. Здесь обострено комсомольское начало. Достаточно представить себе атмосферу тех лет, чтобы ощутить, что это начало и совершенно независимо от «профессиональной» литературы, и очень активно. У всех в памяти 1931 год, когда комсомол, как писали тогда, *вмешался* в литературную полемику и вступил в спор с самим РАППом; авторитет Генерального секретаря ВЛКСМ А. В. Косарева позволяет тогдашнему комсомолу иметь в литературном мире влиятельную и совершенно независимую позицию. Журнал «Молодая гвардия» чувствует, что за его плечами гудит комсомольская масса, которая через пять-шесть лет будет определять характер исторических событий. Поэтому здесь свой стиль и свои планы. Здесь свои рубрики, свои дискуссии и свои законы. Здесь своя поэзия и своя проза, свой литературный мир.

Но, как во всей тогдашней литературе, здесь обожают факт. Тщательно лелеют очерки, записки и воспоминания бывалых людей. «Молодая гвардия» растит своих начинающих литераторов, тех, что пришли к письменному столу от станка, от плуга и от винтовки. Им посвящаются смотры, обсуждения, обзоры.

Тут, среди молодогвардейского молодняка, и получает первоначальную литературную прописку автор романа «Как закалялась сталь» Н. Островский.

За пределами журнала его роман не замечает никто.

Единственный орган печати, который среди молчания продолжает регулярно поддерживать Островского, – это сама напечатавшая его «Молодая гвардия». Здесь бережно рецензируют отдельное издание. Здесь помещают и первые отклики читателей, бурно приветствующих Корчагина, но никто еще не знает, *что* придет за этими первыми откликами. Здесь регулярно отмечают «молодого рабочего автора» в обзорах и перечнях и столь же регулярно выражают уверенность, что вторая часть произведения будет более умелой в литературном отношении.

Наконец, здесь, в «Молодой гвардии», в середине 1934 года публикуют только что дописанную Островским вторую половину романа «Как закалялась сталь».

И опять профессиональная критика не признает ее. Спорят о «Скутаревском» Л. Леонова и о «Поднятой целине» М. Шолохова, обсуждают «Последний из удэге» А. Фадеева и «Время, вперед!» В. Катаева, всматриваются в «День второй» И. Эренбурга и восторгаются фильмом «Чапаев». Но никто не замечает Островского, и единственный отклик на вторую часть появляется в справочном бюллетене Института библиографии. Отклик называется: «Эскизы к роману». И вновь журнал «Молодая гвардия» рецензирует отдельное издание и еще дважды публикует читательские отзывы, продолжая упрямо говорить о творческих возможностях молодого автора. И снова этот одинокий голос теряется в безбрежном океане шумно перестраивающейся литературы.

Не вписывается Островский в ее контуры. Здесь, в профессиональном мире, его не воспринимают.

В январе 1934 года журнал «Октябрь» рапортует XVII съезду партии об успехах советской литературы. Целую журнальную страницу занимает один только перечень произведений, созданных между съездами; легко представить себе, что тут собрано все, что можно... все, кроме автора Корчагина.

Островский, не влезающий в рамки художественной литературы, идет по другому ведомству.

В августе 1934 года секретарь создаваемого Союза советских писателей В. П. Ставский включает имя молодого пролетарского автора в свой съездовский доклад о литературной молодежи. Имя Островского впервые появляется в центральной печати. «Комсомольская правда» дает биографическую справку. О степени знакомства с Островским говорит тот факт, что он назван в этой справке Николаем Павловичем.

Островский в маленьком флигеле в Сочи, на Ореховой, 47, лихорадочно слушает в наушниках радиотрансляцию съезда писателей.

Здесь в конце 1934 года и находит его неугомонный Михаил Кольцов.

«Николай Островский лежит на спине, плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обернуто кругом длинного, тонкого, прямого столба его тела как постоянный, неснимаемый футляр. Мумия.

Но в мумии что-то живет. Да. Тонкие кисти рук – только кисти – чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии...

Живет и лицо. Страдания подсушили его черты, стерли краски, заострили углы... Голос спокоен, хотя и тих, но только изредка дрожит от утомления...»

Очерк М. Кольцова в «Правде» читают миллионы людей. Уже одно это разом выводит имя автора Корчагина из неизвестности. И еще Кольцов роняет фразу, звучащую скрытой угрозой в адрес тех, кто не хочет признать Островского: «Не всех героев мы знаем. И не всех мы умеем замечать». Легко представить себе, как звучит такая фраза в газете «Правда» в 1935 году.

Это – перелом.

Мгновенно очерки и статьи об Островском появляются в центральных газетах. Толстые журналы открывают его для себя.

В короткий срок об Островском написана огромная литература. Все, что критика могла бы написать о нем в течение трех лет, она выдает на гора в течение трех месяцев. Холод непризнания разом сменяется огнем ревностной любви.

В течение полугода из безвестного начинающего литератора он превращается в живого классика. В октябре 1935 года становится орденосцем. Ему строят виллу на Черноморском побережье. Последние четырнадцать месяцев, отмеренные ему болезнью, он живет, как живая легенда, на улице своего имени, и дом его делается местом паломничества бесконечных делегаций и предметом острейшего любопытства зарубежных журналистов.

Всесоюзные похороны его в декабре 1936 года еще увеличивают его славу. И складывается то почти нерасчленимое соединение популярности, идущей снизу, и культа, насаждаемого сверху, которое ставит впоследствии в тупик западных историков советской литературы, и они с тех пор решают (как сказано у Глеба Струве), «до какой степени широкая национальная популярность Островского была спонтанна, добровольна и стихийна и какую часть тут надо отнести на счет обдуманного мифотворчества».

Чтобы ответить на этот вопрос, я вернусь к тому времени, когда нет еще никакого официального признания, и Михаил Кольцов еще не открыл Островского своим очерком, и книга его распространялась в читательской массе не только без помощи пропагандистских мероприятий, но и без малейших подсказок критики. Отдадим себе отчет в том, что многие люди, которым суждено стать пламенными пропагандистами романа «Как закалялась сталь», в ту пору еще и не знают его. Марта Пуринь, активная латышская коммунистка и работник «Правды», не читала «Как закалялась сталь» до лета 1934 года, хотя она лично была знакома с Островским и сама оказалась выведена в книге. Семен Трегуб, завлит «Комсомольской правды» и в будущем один из авторитетнейших исследователей Островского, впервые читает его только в 1935 году. Тогда же, в 1935 году, луганский студент-филолог И. Марченко получает комсомольское

поручение прочесть «Как закалялась сталь» и доложить о ней на читательской конференции. Марченко отправляется в библиотеку и записывается сто семьдесят седьмым; не имея терпения ждать, он выпрашивает книгу в местном райкоме партии и читает тут же, не унося... Впоследствии И. Марченко становится одним из первых на Украине собирателей материалов об Островском.

В этом эпизоде есть что-то символичное. Студент-филолог *ничего не знает* о книге. Местная ячейка дает ему *комсомольское задание*: прочесть. Он идет в библиотеку и застаёт там *гигантскую очередь*. Достает книгу... и становится ее пропагандистом *на всю жизнь*.

Помимо и до всяких указаний свыше, помимо и до всяких критических профессиональных советов, больше того – помимо и до самой публикации – свершается в толще комсомольских читательских масс полный читательский цикл усвоения этой книги. В ней нет того литературного фермента, который мог бы привлечь профессионалов. В ней есть какой-то сверхлитературный фермент, который привлекает миллионы душ помимо и через головы профессионалов. В конце 1931 года, когда роман еще и не добрался до издателей, а Феденев еще только начинает свои хождения в «Молодую гвардию», рукопись уже рвут из рук в комсомольских ячейках Шепетовки, и пять часов подряд читают вслух на активе, и обсуждают в местном педагогическом техникуме. В конце 1932 года, когда только что вышедшую книжку регистрируют в критике одни только библиографические справочники, политуправление армии скупает 80 процентов тиража, а потом до журналистов доходят подробности: какой-то боец, отстояв на посту, вместо сна читает «Как закалялась сталь».

К концу 1933 года, когда на всю прессу имеется о книге каких-нибудь пять откликов, Сочинский райком комсомола начинает массовую проработку романа ячейками, а также чтение его в студии местного радиоузла. Он вызывает по этой части на соцсоревнование Шепетовский райком и констатирует, что в сельской местности проработка отстает по причине нехватки экземпляров книги. Рано или поздно эта копящаяся лава должна выйти на поверхность литературы, и Михаилу Кольцову достаточно нанести один острый удар, чтобы сломать корку, – поток готов хлынуть.

Этот роман читают иначе, чем старую художественную продукцию, поглощаемую в тишине и одиночестве. Ее читают по другим законам. Ей ищут место на другой, новой шкале. На шкале, которую эта книга создает себе сама.

Как читают Островского?

Вот как: «В который раз перечитывала „Как закалялась сталь“. И вероятно, не раз еще буду перечитывать...»; «Два раза читал эту книжку...»; «Достав книгу... я организовал проработку ее у себя в комсомольском коллективе...»; «Как только перерыв между боями, уже слышишь – начали читку... Мне нет покоя от бойцов. Говорят: раз прочтем, второй читать будем и в третий раз перечитывать будем. Я таких чтецов в первый раз в жизни встречаю...»; «Николай, братишка! Пишет тебе незнакомый слесарь Краснодарского депо. Уже пять часов утра, а я всю ночь читал про твоего Павку. Я так его полюбил, что всех его врагов прокалывал пером. И до того проколол журнал, что теперь сижу и думаю, как его отнести в библиотеку!».

Нет, эту книжку читают не так, как обычную художественную литературу. Недаром и слово-то употребляют другое: не читают, а прорабатывают. Или, как во время войны рассказывал на одном из писательских пленумов Николай Тихонов, у бойцов книга «Как закалялась сталь» сделалась *своего рода евангелием*... «Ее читают и перечитывают во всех ротах и батальонах...» Перечитывают – не затем, конечно, чтобы узнать, «что произошло дальше». Что дальше – и так знают наизусть. Перечитывают – потому что заключено в тексте то знакомое напряжение, которого жаждут, к которому заново подключаются, которым заряжаются. Мать Олега Кошевого пишет, что книга Островского у ее сына всегда под рукой; она стоит так, чтобы ее в любой момент можно снять с полки... «если потребуется зарядка»... Нет! Художественную литературу так не читают. Это что-то другое.

Здесь, внизу, в читательской массе, и предопределяется с самого начала судьба книги. Профессиональное, официальное признание может прийти раньше или позже. Решается – тут.

Не потому читают книгу, что стоит она в обязательных списках. А потому она встает в списки, что ее читают. Можно велеть издать книгу сверхтиражом. Но нельзя велеть переписывать ее в Старозагорской тюрьме тайком от надзирателей, как это делали болгарские антифашисты. Нельзя велеть читать ее в окопах под Севастополем при свете карманных фонариков. Нельзя велеть крутить вручную печатные машины в блокадном Ленинграде. Это люди делают сами.

Значит, есть что-то такое в книге, что бьет безотказно и вопреки всем старым литературно-критическим представлениям о традиционном художественном тексте.

Значит, есть тут загадка, неподвластная старым профессиональным представлениям.

Волею судьбы автор их не знал.

Считал ли он себя профессиональным литератором? И да, и нет.

С одной стороны:

«Я никогда не думал быть писателем... Я совершенно сырой, я ничего не знаю... Моя профессия – топить печки...»

С другой стороны:

«Цель моей жизни – литература. Это роман, а не биография!»

С одной стороны:

«Я использовал право на вымысел...»

С другой:

«Я писал исключительно о фактах...»

Во внутреннем драматизме этих противоречивых самохарактеристик отражается драматизм и парадоксальность самого явления Островского в литературе. Больше – это драматизм самой эпохи, парадоксальность ее новых законов.

В 1929 году журнал «Октябрь» печатает в разделе «Пережитое» автобиографию молодого красного бойца; жанр так и определяют: «обыкновенная биография». Это – «Школа» А. Гайдара.

За несколько лет до этого в серии «Труды Истпарта» появляются воспоминания комиссара 25-й дивизии. Это – «Чапаев» Дм. Фурманова.

Николай Островский впервые берет перо по заданию Истмол Украины – записать материал для историков (Истмол – история молодежных организаций).

До 1932 года слово «писатель» не приходит ему в голову. Он садится за книгу, чтобы составить «воспоминания». Он делает «запись целого ряда фактов». Редактор «Комсомольской правды» и журнала «Молодая гвардия» Тарас Костров (очевидно, в 1927 году) советует ему облечь историю «в форму повести или романа». В этот период «форма» для Островского не более чем грамотный язык; главная его забота вовсе не жанр, а верность правде, просто-душное желание обрисовать действительных (и живых еще) героев, «указав все их недостатки и положительные стороны». Этим живым свидетелям и участникам Островский и посылает на отзыв свою работу (он везде пишет «книга», «труд», «работа», и даже потом, когда в журнале произносят слово «роман», Островский настаивает на менее литературном – «повесть»). В первую очередь работу смотрят участники событий. И уж потом – спецы по литературным вопросам.

В январе 1932 года, посылая «Как закалялась сталь» в журнал, Островский прилагает к тексту письмо, не предназначенное для печати: «Я работал исключительно с желанием дать

нашей молодежи воспоминания, написанные в форме книги, которую даже не называю ни повестью, ни романом, а просто „Как закалялась сталь“.

Потом ему объяснят, что он написал роман. И тогда с 1932 года презрительный термин „спецы“ в его письмах и высказываниях сменяется уважительным термином „мастера“. Начинается период профессионализма. Период бешеной учебы, лихорадочного чтения, яростного овладения „литтехникой“. Но даже и потом, когда страх „корзины редактора“ сменяется у молодого автора ощущением победы, в нем остается неистребимый суеверный пиетет перед мастерами и тайное опасение: „я – недоношенный писатель“, „я – штатный кочегар“, и изумление самому себе: „Петя, ты ожидал от меня такого выража?“ Писательская техника, профессиональная премудрость, так называемая форма-обработка, которой он старался овладеть, теперь делается предметом его главных упований. И когда кто-то из критиков в порыве организаторских чувств предлагает Всеволоду Иванову пройти по жизнеописанию Корчагина рукой мастера, Островский приходит в такую ярость, что хочет ответить этому критику „ударом сабли“. Именно после этого случая он начинает упорно отрицать документальную ценность романа, резко отделяя себя от своего героя.

Реакцию Островского можно понять. В той писательской славе, которая окружила его в последние полтора года жизни, заключился теперь весь смысл его судьбы; посягнуть на его профессиональное признание – значило теперь посягнуть на само духовное его бытие, а это все, что он, в сущности, имел. Так пришел он на своем пути к последнему парадоксу: кухаркин сын, колотивший маменькиных сынков, кочегар, презиравший спецов, железный боец, бравший на мушку белоруких буржуев, обретает литературную славу; он оказывается в ней, как в гигантском дворце, и уже не может отступить. Полтора года он твердит себе и окружающим о профессиональном умении, о праве на так называемый писательский вымысел и о том, как он „создал образ“.

А за два месяца до смерти, когда стало, наверное, уже не до критиков, вдруг признается явившемуся к нему английскому журналисту:

„Раньше я решительно протестовал против того, что эта вещь автобиографична, но теперь это бесполезно. В книге дана правда без всяких отклонений. Ведь ее писал не писатель. Я до этого не написал ни одной строки. Я не только не был писателем – я не имел никакого отношения к литературной или газетной работе. Книгу писал кочегар, ставший комсомольским работником... Руководило одно – не сказать неправды... Я ведь не думал публиковать книгу. Я писал ее для истории молодежных организаций... А товарищи нашли, что книга эта представляет и художественную ценность. Если рассматривать „Как закалялась сталь“ как роман, то там много недостатков, недопустимых с профессиональной литературной точки зрения: ряд эпизодических персонажей, которые исчезают после одного-двух появлений... Но эти люди встречались в жизни, потому они есть в книге... Она не создание фантазии и писалась не как художественное произведение... Если бы книга писалась сейчас, то она, может быть, была бы лучше, глаже, но в то же время она потеряла бы свое значение и обаяние... Она неповторима...“

Так на грани гибели он возвращает себе ощущение истины. Истины бесконечно более ценной, чем загнипнотизировавшая его „литературность“. Гонясь за формой-обработкой, он не знал, что владеет несоизмеримым: формой-органикой, формой-дыханием, формой-бытием. То есть тем самым, к чему мучительно идут все гении литературы, преодолевая свое „мастерство“... Мастерство – категория профессиональная, количественная, и на всякое мастерство найдется большее мастерство.

Это звено – то самое, за которое вытягивается цепь. С других концов нечего и подходить к повести. Мате Залка это и почувствовал: „Шедевр ли эта книга? – Да. – Чем? Техникой? – Нет“.

Но тогда – чем?

Потаенная углубленность в себя живет в этом человеке за обычной комсомольской веселостью тех лет.

Да, он – как все, и, как все, прошел до конца путь, уготованный его поколению. Он прожил типичную жизнь комсомольца 1920-х годов. Но он прожил ее так, словно видел в этой жизни внутренним зрением какой-то предельный, одному ему ведомый смысл, и поэтому был „чуть“ серьезней, „чуть“ суровее, „чуть“ последовательнее своих сверстников.

В недоучившемся кочегаре заложена была жажда последней логики, абсолютной логики, стальной внутренней логики. Жил, носился, дрался, а там, в сверхсознании, – словно тайну разгадывал.

А потом, после вихря, после рубания саблей, после ураганных переездов, после десятилетнего романтического сна наяву – болезнь: темнота и молчание. Беспредельный огонь сменяется беспредельным холодом.

Болезнь разом отсекает его от внешней деятельности. Он не знает позднейших сомнений и терзаний своих ровесников. Слепота замыкает его внешнее зрение, больные, каменеющие суставы сковывают его для внешних действий. Там, в сознании, остается раскаленный вихрь идей его эпохи; там, как в тигле, продолжается внутренняя работа, и создавший его мир, отсеченный от новых воздействий, начинает гениально обнажать свою структуру.

Бессонными от боли ночами, в гробовой тишине он мысленно еще и еще раз проживает свою прошлую жизнь. Волею судьбы он избавлен от знания литературных секретов и от профессиональных хитростей, за которыми легче скрыть ложь. Тысячи раз прокатывая в своем возбужденном мозгу эпизод за эпизодом, он нащупывает в этом вихре такие связи, которые вряд ли доступны обыкновенному профессионалу, редактирующему текст. Он „редактирует“ свою жизнь, сотни и сотни раз выявляя в ней неподвластную внешнему взору стальную внутреннюю логику. Он диктует безостановочно.

Знает ли он, какая судьба уготована этому тексту? Знает ли, лежа в переполненной жильцами комнатке в Мертвом переулке и ожидая, когда все уснут и станет тихо, знает ли, что начинает? И, влажной от напряжения рукой выводя по самодельному транспаранту на обороте статистических таблиц уральского лесохозяйственного профсоюза первые строчки, знает ли, что будет? Нет. Обыкновенным знанием – не знает. Это знает в нем его судьба.

Потом скажут: секрет в биографии автора.

Автор умер, ушла в историю творимая легенда, ушли яростные взаимные нападки его критиков. Остался текст, написанный вопреки старой литературной технике. Текст доказывает свое: два миллиона, пять миллионов, десять миллионов, тридцать миллионов экземпляров...

Судьба

Итак, открываем первую страницу.

„– Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок – встаньте!

Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников.

– Идите-ка сюда, голубчики! <...> Кто из вас, подлецов, курит?

Все четверо тихо ответили:

– Мы не курим, батюшка.

Лицо попа побагровело.

– Не курите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! <...>

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол.

– А ты что, как истукан, стоишь?

Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил:

– У меня нет карманов, – и провел руками по зашитым швам.

– А-а-а, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость – испортить тесто! <...> Марш из класса! – Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор...

Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца“.

Перед нами вечная, как мир, ситуация: несправедливое наказание.

Как вел себя в подобной ситуации герой литературы XIX века?

Перенесемся на несколько десятилетий в прошлое и на несколько тысяч миль западнее Шепетовки 1915 года, а именно: в добрую старую Англию, где в работном доме аккуратные приходские бидлы (надзиратели) дважды в день „для примера и предостережения остальным“ секут розгами безответного Оливера Твиста. Несчастный сверстник Павки заливается горькими слезами и молит Небо о справедливости (мы по сюжету знаем, что Диккенс защитил оскорбленную невинность, и молитвы маленького Оливера дошли). Но любопытно следующее: вся энергия, весь протест героя XIX века всецело воплощаются в сознание обиды, в чисто духовное переживание, не переходящее в поступок². „Озлобленный ум, кипящий в действии пустом“³ – вот удел молодого героя классики.

На русской почве, как известно, эта ситуация породила выплеск духовности, еще более далекий от практических действий. В то время как в английском работном доме мистер Бамбл сечет Оливера Твиста, его русский коллега, мистер Лобов, из „Очерков бурсы“ Н. Помяловского в Александро-Невской бурсе сечет беднягу Карася. И, Боже, какая „нравственная обида... созревает после“, какие слезы пролиты потом в одиночестве, какие „небесные силы“ призваны – и только... „Но должно же было разрешиться чем-нибудь это пассивное страдание?“ – восклицает Н. Помяловский и признает: – „Оно могло пока разрешиться только внутренним путем“.

И может быть, нигде с такою силою не выразилась нравственная ситуация старой литературы, как в трилогии Л. Толстого „Детство. Отрочество. Юность“. Николеньку даже и не секут – достаточно, если St.– Jérôme только пригрозит: „Принести розог!“ – и уже в душе буря. Да что розги! Любимейшая, обожаемая нянюшка Наталья Савишна в сердцах о разбитом графине махнет барчука по лицу мокрой скатертью. „Как!“ – взорвется он. „... Наталья... бьет меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!“ И хлынут слезы обиды, и станет растерянная старуха извиняться, и слезы потекут еще сильнее. Комплекс личного достоинства развит в барчонке до такой степени, что он буквально *ищет* какой-нибудь несправедливости, чтобы оскорбиться. Он плачет оттого, что дядька Карл Иванович хлопнул у него над головой муху („забыл про меня!“), и выдумывает в объяснение слезам какой-то страшный сон, потому что смешно и впрямь плакать оттого только, что тебе на голову свалилась дохлая муха. Что говорить о несправедливостях, которые испытывает Николенька Иртенев от педагогов! „Я искал пистолетов, которыми мог бы застрелиться“, „... Три дня я не выходил из комнаты“, „... И плакал много...“.

² Это наблюдение Г. Д. Гачева. Ему также принадлежит сама идея подобного рассмотрения первой сцены повести Н. Островского. См.: Теория литературы. Изд. ИМЛИ, 1967. С. 170–171.

³ См.: Пушкин А. С. Евгений Онегин. Глава седьмая. Строфа XXII.

А теперь вернемся к Павке Корчагину, к махорке, которую *кто-то* насыпал попу в тесто. Следов табака нет, карманов нет, доказательств нет. Есть наказание: не насыпал – так мог бы насыпать! И что же? Новый герой принимает эти незаконные условия! Вместо обиды – ненависть. Доказательств нет? Не надо! Не насыпал вчера – так насыплю завтра! Человеческая пружина, которая прежде копила энергию, теперь бьет встречным ударом! Отвечает не скрытой обидой – явным, немедленным поступком, отвечает мгновенным действием!

Это не просто новая форма реакции. Это новое содержание самого понятия о справедливости. Это новый подход к моральным категориям. Герой XIX века страдал не столько даже от наказания, сколько от сознания незаслуженности наказания. Недаром Николенька Иртенев, не умевший перенести пустячного упрека, если он был несправедлив, сам попросил отца выдрать его за то, что, не удержавшись, залез тайком в отцовский портфель. Физическая боль принесла ему удовлетворение, потому что наказание было законно. Здесь все построено на чрезвычайно развитом чувстве справедливости и потому – на чувстве личной ответственности. Здесь есть правовое равновесие, которое либо соблюдается, либо нарушается. Иными словами, герой старой литературы в самой своей обиде исходит из идеи какого-то общего со своими обидчиками права, общего договора, который обидчик нарушает. В бунте Оливера Твиста заложено смирение. Бунт исходит из чувства невиновности, которая не оценена. Эта нравственная ситуация в буквальном смысле вечна. В европейской культуре она восходит к библейской книге Иова: человек бросает Богу упрек в несправедливости. Такой упрек предполагает, что между Богом и человеком есть справедливость и единство, что закон реален, что диалог возможен. Недаром Бог возвращает Иову отнятое и называет его вернейшим рабом своим, и недаром, по известному евангельскому сюжету, сотне праведников так не радуются на Страшном суде, как одному раскаявшемуся грешнику. Обида героя XIX века исходит из признания справедливости, общей для обиженного и для обидчика.

Островский есть отрицание самой этой общей основы: он воплощает бунт человека против самой идеи смирения, против идеи подчинения человека всеобщему нравственному закону. Доказательств вины не нужно, потому что нет понятия вины. Обиды нет, потому что нет и не может быть самого понятия о справедливости между попом и Павкой. Твое дело – бить меня, а мое дело тебя ненавидеть и ждать момента – вот что думает Павел. „Можно ползать на коленях так, что хозяин взглянет и подумает: „Ну, сегодня он ползает, а завтра встанет и повесит меня“. Когда Н. Островский говорит это, он абсолютно прав. Встанет! Повесит! Потому что настала революционная эпоха, в которую человек опирается не на закон, требующий смирения, а на свою восставшую волю, требующую действия.

Старые законы рушатся. Человек остается один. Ему не с кем вести диалог. Он защищается и атакует.

Теперь еще раз бросим взгляд на Запад. Вернемся к маленькому Оливеру Твисту и посмотрим, как он ведет себя в XX веке. Добрая старая Англия, рабочий дом, рубеж нового столетия. Мальчиков секут в приюте по пятницам (то есть не столько за провинности, сколько по расписанию, без личной вины). „Более опытные из нас“ советуют сразу во всем сознаваться, виноват ты или нет, потому что запирающийся получает шесть ударов, а сознавшийся – три. Доказать же свою непричастность обычно никому не удается.

„Когда меня вели к столу, я не возмущался тем, что со мной обошлись несправедливо... Я получил три удара... Однако я чувствовал себя победителем“.

Маленький англичанин еще помнит о справедливости, он умом понимает, что его наказывают безвинно, но это уже совершенно не занимает его. На место закона встало простое соотношение сил. Подчиняясь силе, ребенок хладнокровно рассчитывает: лучше три удара, чем шесть. Он старается обыграть своих противников по новым, циническим правилам игры,

но ни о каком милосердии, ни о каком законе, ни о каком общем с ними праве он уже всерьез не думает: он защищается как умеет.

Не правда ли, все это уже типичный двадцатый век? И человек, написавший эти воспоминания, стал одним из величайших выразителей психологии маленького человека двадцатого столетия: я цитировал автобиографию Чарльза Спенсера Чаплина.

В чем тут суть?

Человек раздроблен. Человек частичен. Человек подстраивается к правилам бесчеловечной игры. Это – западный вариант.

Теперь вернемся к маленькому Павке. Он тоже дитя нового времени и тоже защищается в незаконной схватке. Он тоже действует в мире, очищенном от понятий общего права. Но он действует иначе.

Герой прошлого столетия Николенька Иртеньев обладал полнотой духовной жизни, он пребывал в ощущении согласия с миром, незыблемости его законов и исходил из этого ощущения в своих протестах.

Буржуазный герой нового времени распрощался с полнотой личности. Он – „частичный человек“, и он смирился с этим. Он принял новые правила.

Павел Корчагин, оказавшийся в положении „частичного“, бесправного, обезличенного существа, не мирится. Он помнит о возмездии. Он все время ощущает в своей душе бездну, из которой выкачали право и достоинство, просто он заполняет эту бездну тем, что есть у него, – ненавистью. Весь его характер построен на ощущении безмерной, всеобщей, конечной справедливости, которой нет.

Духовный состав толстовского героя не раздробился здесь на „частичные функции“ – он перевернулся в Корчагине, сохранив, как в негативе, все черты целого.

Чтобы понять внутреннюю логику корчагинской судьбы, нужно обратиться к русской революционной истории. Там мы находим духовных предшественников героя Островского: среди вдохновенных и нищих русских разночинцев, среди семинаристов, выбросивших из головы Бога и отдавшихся революционной деятельности, – там, где держиморда Лобов сечет будущих нигилистов и бомбометателей, – там, в самой толще XIX века, в бурсе Помяловского, высекаются первые искры будущего пожара. И закладывается тот духовный комплекс, который через пятьдесят лет взойдет над миром исторической загадкой.

Маленький Павка Корчагин молчит во время экзекуции. Диалоги кончены. Это нечто иное, чем личная уязвленность или личная ненависть. Никаких следов личной обиды на батюшку нет у Павки, да и следов этого попа вообще больше не будет в романе. Ненависть Корчагина неизмерима личными, частными масштабами: безмерное поправление вызвало безмерную ненависть.

Нравственный преемник русских нигилистов, герой Островского вырастает на той почве, которую полстолетия засеивали они зернами своего гнева. Тогда народ – молчал. Нигилисты, напротив, говорили много и горячо, и Николенька Иртеньев с тревогой и неприязнью слушал этих, как казалось ему, развязных, неопрятных, плохо воспитанных, дурно произносящих французские слова, но поразительно начитанных парвеню⁴. А где-то там, в отдалении, почти-точно стоял „народ“ – молчаливая толпа, дворян. Николеньку эти люди не интересовали: его раздражал запах сала от их голов, их докучливое „пожалуйста ручку-с“. Все это было как плохая погода, и, в общем, Николенька не имел к этой массе никаких претензий, потому что она была вне игры, там стоял для него просто туман безличности. Потом из тумана грянула гроза. Плохая погода обернулась исторической бурей.

⁴ Выскочка (фр).

Островский – частица бури, капля, отразившая разбушевавшийся народный океан. Больше! В судьбе Корчагина выразилось нечто важнейшее, чем путь капли в потоке, – самый поток, самая буря выявила здесь свою структуру.

Бедный поп Василий беззвучно исчез в этой пучине. Просто он попался первым.

Поп вышвырнул его из школы. Шеф пристанционного буфета вышвырнул его из кухни. Какой-то гимназистик пытался швырнуть его в воду на глазах у красивой барышни. Детство Корчагина проходит под знаком постоянного отшвыривания. Его формирование начинается с ощущения постоянной униженности. В скудости быта своего героя Островский выделяет именно эту, духовную, сторону. Павка не фиксирует сознания на чувстве голода (хотя по логике вещей должен испытывать голод), он не страдает от холода (хотя одет кое-как), даже физическая боль от побоев проходит как-то бесследно. Но усугублено до предела чувство общей бесправности, непреодолимой уязвленности, ощущение безличности, в которую походя отшвыривают его сильные мира. Бездна униженности рождает бездну ответной злобы – физические страдания бледнеют при этом.

Русская кровь, украинская кровь, чешская кровь (мать Островского – украинка чешского происхождения). Турия, Вилия, Шепетовка. Пограничные места: скрещение дорог, наций, языков. „Здесь, на вокзале, сходятся и разбегаются в разные стороны сотни эшелонов“. Поляки, русские, евреи, украинцы, немцы... Петлюровцы, голубовцы... Красногвардейцы: котовцы, буденновцы. Закономерности, движущие миллионами, выявляются в судьбе героя с последней ясностью. Он рождается на скрещении путей. Он как бы вне целого. Ощущение бесправия, незаконности его рождения, ощущение духовной частичности, навязанной ему, оказывается уже как бы и событийной плотью его судьбы. В ней нет устойчивости, нет корней, нет глубокого быта. Сплошное кочевье. Самый сильный бунт против духовной неприкаянности возникает в самой неприкаянной душе.

Духовный бунт маленького Павки – это вопль о справедливости в мире, в котором не может быть справедливости. Ощущение беспредельной дерзости, беспредельной свободы становится в его душе тем целым, что противопоставляет он насильственной раздробленности своего бытия. Бунт сплывает в нем цельное существо, бунт вбирает его без остатка, бунт обозначает в его характере резкий и мощный контур.

Это цельность от противного. Дерзкая, безмерная, бунтующая воля – первый ответ существа, ощутившего внутри себя потенциальное единство. Духовная монолитность возникает как отрицание раздробленного и бессмысленного существования, как ясное ощущение отсутствия полноты во внешнем бытии, как жажда компенсации.

Эту жажду Островский ощущает всю жизнь.

В тридцатые годы С. Трегуб записывает его слова:

„Человек живет не по частям: брюхом, печенью, полом, а целым...“

Жажда цельного бытия – разгадка корчагинского характера. Он не мог бы рассчитывать: три удара лучше, чем шесть ударов... Он знает одну меру: отдать все или получить все. Он либо весь тут, либо весь там.

Вернемся к записи С. Трегуба. Островский продолжает:

„Человек делается человеком, если он собран вокруг какой-то настоящей идеи...“

Он с детства ищет такую идею. Овод и Гарибальди, лихорадочное чтение, детские фантазии, воздвигающие сказочный мир над грязью и унижениями реального пристанционного буфета, жизнь воображенная, энергия, ищущая себе применения, две попытки сбежать на русско-германский фронт в 1915 году и фронт, нахлынувший сам в 1918-м, новые слова: „большевики“, „ревком“; просьбы дать какую-нибудь работу: „Не могу сидеть сложа руки...“

Теперь напомню вам фразу, с которой является в роман „Как закалялась сталь“ матрос Федор Жухрай:

„Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?“

Корчагин мог бы ответить словами Маяковского: „Принимать или не принимать? Такого вопроса не было. Моя революция. Пошел и работал. Все, что приходилось“.

Отныне жизнь собрана воедино. Она получила смысл. Формирование героя завершилось.

Он влился в свое поколение и стал одним из тех, кто придал этому поколению неповторимый облик. Впоследствии их называли – комсомольцы двадцатых годов. Они ворвались в историю на взмыленных конях и наполнили трагические годы Гражданской войны отчаянным и веселым молодым напором. Они увидели смерть вблизи, когда были еще юнцами, почти мальчиками. Крещенные революционной эпохой, они вынесли из этой купели особую закалку, особый романтический склад души и нерассуждающую готовность к самопожертвованию.

Они торопились жить: шестнадцатилетними они становились во главе полков, уездов, чуть ли не губерний, они рвались вперед, готовые завтра же встать к мировому кормилу, они спешили, уверенные, что родились вовремя. Да, это было счастливое поколение: поколение Аркадия Гайдара, Бориса Горбатова и Виктора Кина.

Время шло – „веселое“. словно чувствовали они: такое мгновение в истории не повторяется. Они были ровесники дела и юношами попали на пир славы. Такими же юношами, лихими романтиками, остались навсегда. И позднее, потом, когда взбудораженная жизнь стала входить в стальные берега, они тосковали и томились, ища себе дела, и мучались оттого, что ни зрелость, ни старость не могли одолеть в их сознании того сабельного блеска, с которым история прорубила им путь из мальчиков прямо в вечность.

Павел Корчагин стал одним из ярчайших символов этого поколения.

И все же есть в этой книжке что-то такое, что выделяет ее из этого ряда, что сообщает ей какой-то дополнительный оттенок и поднимает над эпохой в некое новое измерение. И сам герой Островского Корчагин – конечно, рубака, конечно, сын времени и, конечно, типичен для своего поколения предельно. Но все же таит в себе что-то большее, чем просто характер. И рубает, и вкалывает, и комсу будоражит, и песни поет, и по стране носится, как тысячи его собратьев, а при этом будто все время отвечает судьбой своей на какой-то неотступный вопрос, и это единое внутреннее напряжение поиска – как стальной стержень в его судьбе. Все прочее в конце концов можно и отсечь: сабельный блеск, песни, атрибуты момента... Весь внешний рисунок эпохи уберите – и все-таки что-то останется. Да, герой Островского живет – словно внутри себя загадку разгадывает. Он наследует от автора удивительную серьезность, непрерывный взгляд в себя, чувство последней, предельной осмысленности каждого шага.

Высота принципа, всецелая преданность идее, монолитность духа, пронизывающая все его бытие и немыслимая в русской литературе, наверное, со времен пророка Аввакума, – вот что делает его особенным и неповторимым среди сверстников, столь похожих на него внешне.

«– За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые!»

И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком: «Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна».

Нужен был перед этим рассказ наборщика Самуила о том, как зверски замучили белополюки шепетовских комсомольцев, нужен был приказ: «Никаких грубостей в отношении пленных!», нужна была именно эта ситуация, когда душа жаждала мести, когда, кажется, естественнее всего было взорваться: «Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей!» –

нужна была, одним словом, именно эта справедливая ярость естественного, живого чувства, чтобы Корчагин смирил это живое чувство во имя высшей воли.

«– Ни одного пятна, – шепчут губы Павла».

Когда эпоха 1920-х годов стала отходить в прошлое, ее начали именовать эпохой аскетических героев. В разных вариантах мысль об аскетически жертвенном самосознании Корчагина и теперь бытует в литературе об Островском – и у нас, и за рубежом особенно. Это мнение кажется небезосновательным, если судить со стороны. Но тонкость вот в чем: наиболее решительным противником такой оценки является сам герой; наиболее резким врагом аскетической морали выступает сам Островский.

Аскеза как осознанный нравственный идеал есть, в сущности, перевернутый гедонизм, это такое же смакование отсутствия внешних благ жизни, как гедонизм – смакование присутствия этих благ. Аскеза есть жизнь сознательно частичная, сознательно неполная и ущербная. Жизнь героев эпохи Гражданской войны может нам показаться аскетичной, если мы будем внешним образом сравнивать тогдашний быт с теперешним. Но никогда сами они не считали себя аскетами. Для них это и была настоящая жизнь: яркая, мощная, всецело заполнившая собой мирозданье.

В 1930-е годы Островский получал множество писем с протестами против того, что его герой впадает в болезнь и немощь. Лейтмотив его ответов: болезнь – случайность, будь моя воля – Корчагин был бы олицетворением здоровья и силы...

И правда: пудовые руки Артема, широченные плечи, свинцовые удары рабочих кулаков – вот мир, в котором Корчагин мыслит свое естественное существование, вот формы жизни, которые видятся ему изнутри. Мир, властно захвативший его сознание, – это мир целостный, сильный, исполненный страсти и любви.

Из трех женщин, которых любил Павел Корчагин, две очерчены резко и точно.

Тоня Туманова является герою вестницей чувства «как такового» – это соблазн любви «безыдейной», чистенькой. Мы уже знаем, как дорисовывает воображение Павла его первую привязанность: это призыв плоти, бессильной утолить запросы духа. Это чувство, столь естественное у мальчишки, затоптано им, едва он начинает понимать, что оно может отвлечь его от всепоглощающей идеи его жизни и приковать к низкому.

Тая Кюцам, жена Павла, является ему в конце жизни, когда, израненный, разбитый, слепнувший, он ищет уже только друга. Корчагин сдается чувству тогда, когда оно уже не может помешать этой высокой дружбе, когда любовь уже не грозит взрывом неуправляемой плоти, когда самая плоть эта все равно уже окончательно побеждена в нем его волей. Эта любовь – как гавань.

Между двумя этими берегами, в середине его жизни, в самый разгар его великого кочевья возникает, как мечта, как видение, несбыточный образ Риты Устинович. На скрещении побежденной, естественной тоски о женственности и победившей ее мужественной воли рождается эта гипотетически прекрасная фигура, чудное соединение идейности и женственности, Рита Устинович, которая могла бы стать именно той, что нужна герою, и не стала, а ушла как воображенный идеал.

Интересно, что из трех спутниц Павла Рита Устинович – единственный образ, не имеющий ясного жизненного прототипа. Указания на то, что прототип все-таки есть, глухи и неопределенны. Но даже если и есть – ясно, что в образе Риты воображение Островского дорисовывает все-таки большую часть. Всюду предельно точный, здесь он домысливает целые эпизоды, придумывает дневники Риты – он вводит Риту медленно, через посредника, пробуя на чувстве к ней сначала Сережу и только потом Павла. Уже издав книгу, Островский для киносценария о Корчагине придумывает новые эпизоды с участием Риты – так, словно расстаться не может с этой вечной и несбывшейся любовью.

Почему же Павел «разгромил, глупый» свое чувство к Рите? И не predetermined ли эта «глупость» много раньше, чем Корчагин ее совершает? И такая ли уж это «глупость»? С точки зрения внешнего жизнеустройства героя – может быть. С точки зрения внутреннего духовного пути – нет.

Поразительная фраза, сказанная Корчагиным Тоне Тумановой в момент окончательного разрыва, открывает нам секрет: «У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь».

Корчагин полюбил идею. Это любовь всецелая, захватывающая, вытеснившая все из души героя. Это любовь, осуществившая в нем целостного человека. Она соперниц не имела. А если и имела, то рядом с нею они все равно оставались несбыточными призраками.

Герой был обручен с идеей; жизнь его оказалась настолько полной, что обыкновенная любовь рядом с этой жизнью была просто профанацией. Островский угадал: идея, заместившая плоть, – вот внутренняя тема корчагинской судьбы. Корчагин просто не состоялся бы как характер, нарушь он это условие.

И вот Павка «уже разгромил, глупый, свое чувство к Рите», «ударил по сердцу кулаком».

... Чехов шутил, что медицина ему жена, а литература – любовница. Так еще раз было доказано, что здоровое потомство родится от любви, а не от «закона» и что любовь властна избрать себе любой объект.

Русская литература знает идею не просто как бесплотный словесный символ – она знает *тяжесть слов, вес идей*. Это ощущение идеи как плотной, осязаемой, почти материальной силы, кажется, ни в какой другой стране и ни в какой другой литературе не предстает так явственно, как в русской. Вспомним, сколь часто возникает у наших классиков мысль о сокровенности, невыразимости истины: словно *называя* что-то, мы создаем какое-то новое словесное существо – идею – и, создав, уже вступаем с этим новым существом в особые отношения, в которых оно имеет свое право и свою свободу.

Девятнадцатый век проходит в русской литературе под знаком нарастания этого самостоятельного могущества идей в структуре художественного мышления. У Тургенева владеющие героями идеи часто сравнимы с элементами быта, с пейзажами или портретами, герои Тургенева фехтуют идеями – это легкое и острое оружие, оно всегда под рукой. Герой Чернышевского, избирая идею в союзницы, уже чувствует сверхчеловеческую тяжесть ее руки – только Рахметову по силам эта спутница. И может быть, ни у кого в русской классике мощная власть идей (да и самое это слово) не приобретает такую всесокрушающую силу, как у Достоевского.

Известно, что Н. Островский относился к Достоевскому отрицательно и вычеркнул его книги из списков своей библиотеки. Отношение это понятно: у Достоевского идеи слишком очевидно съедают человека. Откровенность, с которой Достоевский говорит об этом, не может не оттолкнуть Островского: он рожден в другое время, у него другие идеи; самый характер воплощения идей в жизни его героев – другой. У Достоевского люди гибнут, потому что идеи, захватывающие их существование, сталкиваются между собой.

Герой Островского продолжает жить и действовать, потому что им владеет одна идея, безраздельно и всецело забравшая все его существо. Да, это другая эпоха! И все же мы никогда не разгадаем Корчагина вне старой русской почвы: сама принципиальная возможность такой судьбы гениально предсказана в русской классике. Роман человека с идеей, роман до гробовой доски – счастливый и безоглядный – вот эта судьба.

Да, книга Островского написана, что называется, точно на тему. Из цепи великого раздумья русской литературы это звено не выкинешь, и, наверное, здесь – секрет удивительного успеха этой книги в атмосфере России XX века. Атмосфера предполагает Корчагина. В 1918 году Горький с гордостью пишет, что грядет «человек-герой, рыцарски самоотверженный, страстно влюбленный в свою идею». Это предсказан Островский.

Его герой впервые чувствует себя человеком в тот момент, когда решает: «большевистская партия и коммунистическая идея», о которых говорит Федор Жухрай, – его, Корчагина, жизнь.

«Самое дорогое у человека – это жизнь...» Эта всемирно известная, ключевая фраза в черновиках романа (то есть до журнальной работы над текстом) кончается словами: «чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за идею коммунизма».

«Скажите, – спросили его незадолго до смерти, – если бы не коммунизм, вы могли бы так же переносить свое положение?»

«Никогда!»

В видимом хаосе, в вихре революционной эпохи, сорвавшей все со своих мест, молнией сверкает великая идея. Собирается новый космос. Великой идее отдается человек, наполняя смыслом свое существование, жаждущее смысла. На фоне меняющегося вихря – стальной стержень судьбы, роман человека и идеи, безраздельная победа идеи над элементарным существованием. Самой смерти бросает вызов идея, овладевшая человеком.

Николай Островский умер не от той болезни, которая приговорила его к неподвижности. Скованный анкилозирующим артритом, он последние годы более всего, кажется, страдает от всяких побочных хворей: от простуд, плевритов, «проклятого гриппа». Смерть обступает его со всех сторон, она действует с многократной гарантией: потеря зрения не связана с основным заболеванием, почки, легкие, нервы – все травмировано независимо от главной болезни, лишившей его возможности двигаться.

Борьба со смертью становится последним актом его трагедии, создавшим его воле, может быть, наибольшую славу. Его выдержке суждено войти в медицинские учебники. Борясь с болезнью, поддерживая в себе духовные силы, он все время повторяет, что болезнь – случай, бессильный перед внутренним здоровьем.

Но может быть, именно этот случай и нужен его натуре, чтобы вполне проявилась заложенная в ней закономерность. В 1926 году, когда становится ясно, что прежняя жизнь кончена, Островский близок к мысли о самоубийстве. Обрушившаяся на него немощь потрясает его; он долго скрывает от окружающих документ об инвалидности. Потрясает – но не удивляет. Поразительным внутренним зрением он нащупывает в этом свалившемся на него несчастье продолжающуюся стальную закономерность судьбы. Он пишет в январе 1927 года в одном из писем: «Прошлые годы неистовой борьбы смели нас с жизни в лазареты, и вопрос времени только для того, чтобы мы ушли совсем. Лес рубят – щепки летят. Мы сделали столько, сколько смогли...»

Да, это поколение не жалело ни себя, ни других! Они рубили самоотверженно. Самой смерти бросали вызов и от ответа не бегали. Умели умирать. Смерть не была случайностью – скорее расплатой, на которую они были согласны.

Корчагина могли убить в 1918 году немцы, если бы нашли спрятанную им винтовку или украденный у лейтенанта револьвер. Его мог застрелить на улице петлюровец, когда Павка кинулся освобождать Жухрая. Могли убить в тюрьме... Смерть гонялась за ним: не дострелила под Вознесенском – ударила взрывом под Львовом, не добила тифом в Боярке – перевернула под Харьковом в автомобиле, раздробила суставы. Его зачисляют в списки погибших – он появляется вновь. А смерть все идет за ним и бьет вслепую, многократно, «по площади». Таковы условия игры: Корчагин из тех, кто не обращает на смерть внимания, как и все его поколение «родившихся вовремя».

Как правило, они умирают трагично: гибнет Виктор Кин, гибнет Аркадий Гайдар, Николай Островский умирает «своей смертью» – от белогвардейской пули, полученной в 1920-м, от

стужи, которую, раздетый, терпел в Боярке, от нервного перенапряжения берездовских пограничных буден, которое добивает его двенадцать лет спустя.

В жизни Островского поразительна ясность переходов: пытался встать на ноги – не смог; начал писать книгу после того, как врачи сказали окончательно: никогда более не поднимешься. Это биография, от первой до последней страницы просвеченная единым смыслом, объединенная одним раскручивающимся сюжетом, одной нравственной идеей. Внутренний безмерный жар порождает лихорадочную, безмерную, всесокрушающую деятельность. Внутренняя убежденность, преданность идее дает такую духовную силу, что уже в самом этом факте заключается вызов смерти. Нет, смерть не должна ответить ему первой же шальной немецкой пулей, оборвав в мальчишестве эту великую судьбу. Им еще надо доспорить, они еще должны встретиться на очной ставке: смерть – и идея, овладевшая человеком.

И вот он скован по рукам и ногам, погружен в темноту и отсечен от деятельности. У него осталась – идея. Судьба его подходит к логическому концу. Начинается последний акт.

Теперь оглянемся еще раз на жизнь Корчагина.

Поп выгнал его из школы – в школе Павел проучился меньше года. Полгода он – поваренок в пристанционном буфете. Выгнан в судомойню. Около года – кубовщик. Выгнан. Приблизительно год – подручный кочегара на электростанции. Параллельно – пищик дров на складе станции. Немцы. Петлюровцы. Все это вместе – еще год. Уход к красным, в дивизию Котовского, ранение под Вознесенском, возвращение в строй. Итого – около года – в дивизии Котовского. Затем – около трех месяцев – в Первой Конной. Второе ранение. Лазарет. Затем – полгода в киевской ЧК у Жухрая, пока не свалился. Две недели – в Шепетовке, у матери. Опять Киев. Около года – комсорг в железнодорожных мастерских. Несколько недель в Боярке: строительство дороги, тиф. Затем – четыре месяца дома, у матери. Потом, чуть больше полугода, помощник электромонтера в Киеве. Переезд в Берездов. Около года – военком и райкомщик в Берездове. Еще переезд – в губернский центр. Потом – Москва: несколько дней на Шестом съезде комсомола. И еще «... два года прошли для Корчагина в таком стремительном движении, он даже не заметил их».

Затем – болезнь.

Жизнь словно обрывается. Корчагину двадцать лет. Двадцать лет, а пережито столько, что хватило бы на нормальный век человеческий. И все это вместилося в несколько весен и зим, в отрезочек между юностью и молодостью.

Смотрите же: с первой до последней страницы своей боевой биографии он нигде не задерживается больше года. Он нигде не испытывает страшной пытки временем. Он все пробует, и ничто не успевает ему наскучить. Жизнь его несется вперед, как серия опытов, как вихрь примеров. Он не знает временной протяженности, не знает ни великой прочности, ни разъедающей скуки устоявшегося быта. Он знает жизнь только в качественных пробах, в смене опьяняющих мгновений.

Он спешит.

И потом – сразу – тишина и полное бездействие. Время вытягивается в длинную нить. Оно пустое. Это становится нравственной пыткой, более страшной, чем болезнь. В жизни героя дела и время оказываются разведены на полюса. Сначала – дела вне времени. Потом – время вне дел. Сначала – воля, властно смявшая объективный ход времени. Потом – томительно-размеренное, незаполненное время. Сначала – безмерный огонь поступков. Потом – безмерный холод пустоты, отрезанность от поступков. Пытка бездействием. Пытка ненужностью. Испытание воли, которая заменила собой все, – испытание пустотой.

«Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое – способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее?... Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга...»

В этом есть своя внешняя логика: воля должна убить жизнь, которая ей не подчинилась. Конец кажется неизбежным. Обыкновенное самоубийство...

Но в книжке Николая Островского таится фермент, который выделяет ее автора из обыкновенных рядов – даже из рядов его необыкновенного поколения.

Исторически страшным, костоломным концом все это для них обернулось: бойцам, которые в свое время были готовы сломать шею старому миру, ломали шеи деловитые профессионалы из ведомства Ягоды – Ежова (среди которых, впрочем, достаточно было и честных фанатиков). Безотказный «винтик» заменял повсюду «обывателя» старой жизни. Вряд ли логика разворачивавшейся драмы была ясна самим ее участникам: «винтики» тоже были из стали – из той самой, которая закалялась на раздутом мировом пожаре. Но уж одно было ясно: добром им не кончить, тихой старости не видать.

Страшно подумать, что было бы с Островским, не умри он своей смертью в 1936 году или, риску добавив, не прикрой его судьба болезнью, а потом и славой...

Что могла сделать с Островским эпоха победившего «культа личности», от которой он ушел в смерть?

Задним числом отполировать до школьной бесспорности. Оскопить, отгладить до степени «обязательного образца», мумифицировать, обернувши страшным смыслом неосторожное кольцовское слово. В статье Кольцова именно это слово: «мумия» – покорило Островского, и правильно: вот уж в ком не было ничего музейного! Сделать из него нечто музейное, казенное можно было только задним числом, за чертой гроба. Живой, он не вписался бы в ситуацию 1937 года, как не вписались самые честные люди того, косаревского племени, не смилившегося с бесконечными кадровыми чистками. Так или иначе, конец был неизбежен, и воистину в декабре 1936-го Островский умер «вовремя». Он не переступил линии 1937 года – тридцатидвухлетний «молодой писатель», «старик», успевший помахать саблей в открытой драке.

Пока всепоглощающая идея могла встретиться в его теле с низкой логикой плоти, он мрачно вглядывался в себя, словно ждал от этой плоти подвоха. Когда же болезнь отсекала в нем все, кроме верности идее, – тогда улыбка счастья осветила его лицо.

Смерть его – последняя глава повести, последняя точка в его судьбе.

Смерти он не боится, он с ней на «ты». Он как-то и не думает о ней как о смерти. Он разговаривает о ней с докторами слишком деловито: «Я сознаю свое состояние, я твердо знаю, что я вас больше ничем не порадуя... А жаль!»

Он жалеет, что умрет, но – не боится. Он даже ведет репортаж, от которого, наверное, у докторов перехватывает дыхание.

Жене: «Не волнуйся, это еще не то, о чем все думают...» Потом: «Дело гиблое...» И снова: «Держится ли Мадрид?... Молодцы ребята!.. А меня, кажется, громят...»

Тело его умирает, а в мыслях он далеко, в республиканской Испании: говорит речь на площади осажденного Мадрида, организует наступление, разрабатывает до мельчайших подробностей тайный захват франкистского дредноута...

Почувствовав конец, подзывает жену:

«То, что я скажу тебе сейчас, вероятно, будет моей последней связной речью... Жизнь я прожил неплохо... Все брал сам, в руки ничего не давалось легко, но я боролся и, ты сама знаешь, побежденным не был... Учебы не бросай. Без нее не сможешь расти. Помни о наших матерях: старушки наши всю жизнь в заботах о нас провели... Мы им столько должны!.. А отдать ничего не успели. Береги их...»

Теряет сознание. Очнувшись, спрашивает:

«Я стонал?»

«Нет».

«Видишь! – говорит торжествующе. – Смерть ко мне подошла вплотную, но я ей не поддаюсь. Смерть не страшна мне!»

Снова теряет сознание. Очнувшись, опять:

«Я стонал?»

«Нет».

«Это хорошо. Значит, смерть не может меня пересилить».

Последним усилием угасающей воли он сожалеет:

«Я в таком большом долгу перед молодежью...»

Это его последние слова.

Лев Аннинский

Как закалялась сталь

Часть первая

Глава первая



– Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок – встаньте! Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников.

Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек, – четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.

– Вы садитесь, – махнул поп в сторону девочек.

Те быстро сели, облегченно вздохнув.

Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.

– Идите-ка сюда, голубчики!

Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам:

– Кто из вас, подлецов, курит?

Все четверо тихо ответили:

– Мы не курим, батюшка.

Лицо попа побагровело.

– Не курите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол.

Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях.

– А ты что, как истукан, стоишь?

Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил:

– У меня нет карманов, – и провел руками по зашитым швам.

– А-а-а, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость – испортить тесто! Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упростила оставить тебя, ну, а теперь уж конец. Марш из класса! – Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь.

Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа.

Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора⁵.

Павку душили слезы.

«Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал? Сережка подбил. „Давай, – говорит, – насыпем гадюке вредному“. Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят».

Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили без обеда. Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна к старшим, во второй класс, Павка уселся на заднюю скамью.

Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светила. Павка слушал, разинув рот от удивления, что Земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже вроде Земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В Законе Божием не так написано», но побоялся, как бы не влетело.

По Закону Божию поп всегда ставил Павке пять. Все тропари, Новый и Ветхий Завет знал он наизубок; твердо знал, в какой день что произведено Богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал:

– Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что Земля миллион лет стоит, а не как в Законе Божием – пять тыс... – и сразу осел от визгливого крика отца Василия.

– Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово Божие!

Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор.

Здорово попало Павке и от матери.

На другой день пошла она в школу и упростила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился.

Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия: гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед Пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка махры в пасхальное тесто.

Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа.

... Урок окончился, детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка Брузжак из класса не выходил: чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог.

⁵ Акцизный инспектор – чиновник в дореволюционной России, наблюдавший за поступлением налогов, которыми облагались такие продукты широкого потребления, как чай, сахар, вино, табак.

В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть.

– Пошлите сейчас же ко мне Корчагина! – крикнул он.

И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую.

Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, вылинявшими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку:

– Сколько ему лет?

– Двенадцать, – ответила мать.

– Что же, пусть останется. Условие такое: восемь рублей в месяц и стол в дни работы, сутки работать, сутки дома – и чтоб не воровать.

– Что вы, что вы! Воровать он не будет, я ручаюсь, – испуганно сказала мать.

– Ну, пусть начинает сегодня же работать, – приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил: – Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки.

Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех:

– Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись.

И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу.

В судомойне шла работа вовсю: гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами.

Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесаными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами.

Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала:

– Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать.

Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила:

– Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай. – Повернулась и пошла в буфет.

– Хорошо, – тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю.

Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинства, и, подвывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным, грудным голосом:

– Дело твое, милай, маленькое: вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтобы в нем у тебя всегда кипяток был, дрова, конечно, чтобы наколот, потом вот эти самовары тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножики и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься, – говорила она костромским говорком, с ударением на «а», и от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее.

«Тетка эта, видно, ничего», – решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе:

– А что мне сейчас делать, тетя?

Сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова:

– Ха-ха-ха!.. У Фросеньки уж и племянник завелся...

– Ха-ха!.. – смеялась больше всех сама Фрося.

Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе всего было восемнадцать лет.

Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил:

– Что мне делать надо сейчас?

Но мальчик на вопрос только хихикнул:

– Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно. – И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню.

– Иди сюда, помогай вытирать вилки, – услышал Павка голос одной из работающих, уже немолодой судомойки. – Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал?... Вот бери-ка, – подала она Павке полотенце, – бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот вилочку и чисть туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь – беда: хозяйка в три счета прогонит.

– Как – хозяйка? – не понял Павел. – Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал.

Судомойка засмеялась:

– Хозяин у нас, сынок, вроде мебели, тюфяк он! Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь – увидишь.

Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды.

Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал:

– Пошевеливайтесь живее. Сейчас придет двенадцатичасовой, а вы копаетесь.

Глядя на Павку, он спросил:

– А это кто?

– Это новенький, – ответила Фрося.

– А, новенький, – проговорил он. – Ну, так вот, – тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам, – они у тебя всегда должны быть готовы, а они, видишь: один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет, а завтра если повторится, то получишь по морде. Понял?

Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары.

Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он: тут – не дома, где можно мать не послушать.

Косоглазый ясно сказал, что, если не слушаешь, – в морду.

Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывающую Павку, сказала:

– Ишь, мальчонка-то какой-то ненормальный, мотается как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то.

– Да, парень справный, – сказала Фрося, – такого подгонять не надо.

– Убегается скоро, – возразила Луша, – все сначала стараются...

В семь часов утра, измученный бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене – толстомордёнскому мальчишке с нахальными глазками.

Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства взглянув на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения:

– Эй ты, шляпа! Завтра приходи в шесть часов на смену.

– Почему в шесть? – спросил Павка. – Ведь сменяются в семь.

– Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в шесть. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит.

Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь вклеить мальчишке хорошего леца, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал:

– Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в семь, а драться я умею не хуже тебя; если захочешь попробовать – пожалуйста.

Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил.

– Ну ладно, посмотрим, – пробормотал он.

Первый день прошел благополучно, и Павка шагнул домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед.

Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лешинского.

«Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь, – думал Павка и пошел быстрее, посвистывая. – Получилось не так уже скверно, что меня из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел, – рассуждал Павка, подходя к дому, и, открывая калитку, вспомнил: – А тому, белобрысому, обязательно набью морду, обязательно».

Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына, спросила тревожно:

– Ну как?

– Хорошо, – ответил Павка.

Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял: в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема.

– Что, Артем приехал? – спросил он, смутившись.

– Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо.

Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату.

Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата.

– А, пришел, махорочник? Ну, ну, здорово!

Не предвещала Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом.

«Артем уже все знает, – подумал Павка. – Артем может и отругать, и поколотить».

Побаивался Павлик Артема.

Но Артем, видно, драться не собирался; он сидел на табурете, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрываемым взглядом – не то насмешливо, не то презрительно.

– Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помой принялся? – сказал Артем.

Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню.

«Обойдется, видно, без припарки», – облегченно вздохнул Павка.

Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе.

Павка рассказал все.

– И что с тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь? – с грустью проговорила мать. – Ну что нам с ним делать? И в кого он такой уродился? Господи Боже мой, сколько я мучения с этим мальчишкой перенесла! – жаловалась она.

Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке:

– Ну, так вот, браток. Раз уж так случилось, держись теперь настороже, на работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо; ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда, черт, ни ткнется – везде

недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок – буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу – может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью, но ты смотри, Павка, будь человеком.

Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери:

– Я пойду по делу на часок. – И, согнувшись у притолоки двери, вышел.

Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал:

– Там тебе привез сапоги и ножик, мамка даст.

Буфет вокзала торговал непрерывно целые сутки.

Железнодорожный узел соединял пять линий. Вокзал плотно был набит людьми и только на два-три часа ночью, в перерыв между двумя поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях.

Два года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойня – вот все, что он видел за эти два года. В громадной подвальной кухне – лихорадочная работа. Работало двадцать с лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню.

Получал уже Павка не восемь, а десять рублей. Вырос за два года, окреп. Много мытарств прошел он за это время. Коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню – выбросил всесильный шеф: не понравился несговорчивый мальчонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали за это с работы, но спасала его неиссякаемая трудоспособность. Работать мог Павка больше всех, не уставая.

В горячие для буфета часы носился как угорелый с подносами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и обратно.

Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра: в «очко», в «девятку». Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег, знал, что каждый из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по тридцать – сорок рублей. По полтинничку, по рублику собирали. А потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка.

«Сволочь проклятая! – думал он. – Вот Артем – слесарь первой руки, а получает сорок восемь рублей, а я – десять; они гребут в сутки столько – и за что? Поднесет – унесет. Пропивают и проигрывают».

Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, враждебными. «Они здесь, подлюги, лакеями ходят, а жены да сыночки по городам живут, как богатые».

Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, приводили и расплывшихся от довольства жен. «А денег у них, пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислушивают», – думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни да на складах буфетных; знал Павка хорошо, что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу.

Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому, неизведанному.

Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию.

Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь.

Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося.

Не было уже смеющейся, веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней. Приходя утром в судомойню, слушая сварливые крики беженков, ощущал какую-то пустоту и одиночество.

В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточках перед открытой дверцей; прищурившись, смотрел на огонь – хорошо было от теплоты печи. В судомойне никого не было.

Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе, и отчетливо всплыла картина.

В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице, в кухню. На повороте из любопытства влез на дрова, чтобы заглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки.

А игра там была в полном разгаре. Побуревший от волнения Заливанов держал банк.

На лестнице слышались шаги. Обернулся: сверху спускался Прохошка. Павка залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохошка видеть его не мог.

Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову.

Сверху по лестнице еще кто-то сбегал поспешными, легкими шагами, и Павка услышал знакомый голос:

– Прохошка, подожди.

Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх.

– Тебе чего? – буркнул он.

Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю.

Она взяла официанта за рукав и прерывающимся, сдавленным голосом сказала:

– Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик?

Проход резко отдернул руку.

– Что? Деньги? А разве я тебе не дал? – говорил он озлобленно-резко.

– Но ведь он дал тебе триста рублей. – И в голосе Фроси слышались приглушенные рыдания.

– Триста рублей, говоришь? – ехидно проговорил Прохошка. – Что же, ты хочешь их получить? Не больно ли дорого, сударынька, для судомойки? Я думаю, хватит и тех пятидесяти, что я дал. Подумаешь, какое счастье! Почтище барыньки, с образованием – и то таких денег не берут. Скажи спасибо за это – ночку поспать, и пятьдесят целковых схватить. Нет дураков. Десятку-две я тебе еще дам, и кончено, а не будешь дурой – еще подработаешь, я тебе протекцию составлю. – И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню.

– Подлюга, гад! – крикнула ему вдогонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала.

Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он услышал этот разговор и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся о поленья головой Фросю. Не сказался Павка, молчал, судорожно ухватившись за чугунные подставки лестницы, а в голове пронеслось и застряло отчетливо, ясно: «И эту продали, проклятые. Эх, Фрося, Фрося!...»

Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прохошке, и все окружающее опостылело и стало ненавистным. «Эх, была бы сила – избил бы этого подлеца до смерти! Почему я не большой и сильный, как Артем?»

Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в длинный голубоватый виток; казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся показывает ему свой язык.

Тихо было в комнате, лишь потрескивало в топке, и у крана слышался стук равномерно падающих капель.

Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было. Дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня, и эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь:

– Садись, Климка.

Поваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил, улыбаясь:

– Ты что, на огонь колдуешь?

Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища.

– Чудной ты, Павка, сегодня какой-то... – И, помолчав, затем спросил: – Случилось у тебя что-нибудь?

Павка поднялся и сел рядом с Климкой.

– Ничего не случилось, – ответил он глуховато. – Тяжело мне здесь, Климка. – И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

– Что это на тебя сегодня нашло? – продолжал приподнявшийся на локтях Климка.

– Сегодня нашло, говоришь? Всегда находило, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается! Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет кто только вздумает, и ни от кого защиты нет. Нас с тобой хозяева нанимали им служить, а бить всякий право имеет, у кого только сила есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь, а кому не угодишь, от того и получай. Уж так стараешься, чтобы делать как следует, чтобы никто придаться не мог, кидаешься во все концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя – и по шее...

Климка испуганно перебил его:

– Ты не кричи так, а то зайдет кто – услышит.

Павка вскочил:

– Ну и пусть слышат, все равно уйду отсюда! Пути очищать от снега и то лучше, а здесь... могила, жулик на жулике сидит. Денег у них сколько у всех! А нас за тварей считают, с дивчатами что хотят, то и делают; а которая хорошая, не поддается, выгоняют в два счета. Тем куда деваться? Набирают беженков, бесприютных, голодающих. Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут, и на все идут из-за голода.

Он говорил это с такой злобой, что Климка, опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню, а Павка все говорил о накипевшем у него на душе:

– Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?

Павка сел на табуретку у стола и устало склонил голову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола.

– Читать не будем сегодня? – спросил он Павку.

– Книжки нет, – ответил Павка, – киоск закрыт.

– Что, разве он не торгует сегодня? – удивился Климка.

– Забрали продавца жандармы. Нашли у него что-то, – ответил Павка.

– За что?

– За политику, говорят.

Климка недоуменно посмотрел на Павку:

– А что эта политика означает?

Павка пожал плечами:

– Черт его знает! Говорят, ежели кто против царя идет, так политикой зовется.

Климка испуганно дернулся:

– А разве есть такие?

– Не знаю, – ответил Павка.

Дверь открылась, и в судомойню вошла заспанная Глаша.

– Вы чего это не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу.

... Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так кончилась, как он и не предвидел.

В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось усталому Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду.

Отвернул кран Павка – вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул: усталость одолела.

Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалось все больше и больше. Она залила пол и просочилась под дверь в зал.

Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал, и, только когда вода залила лежавшего на полу пассажира и тот, вскочив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха.

А вода все прибывала и прибывала.

Убравший со стола во втором зале Прохоска кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и с силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал.

Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. Прохоска бросился к спящему Павке.

Удары один за другим сыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика.

Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело.

Избитый, едва доплелся домой.

Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся.

Павка рассказал все, как было.

– Кто тебя бил? – глухо спросил Артем.

– Прохоска.

– Ладно, лежи.

Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел.

– Могу я видеть официанта Прохора? – спросил у Глаши незнакомый рабочий.

– Он сейчас зайдет, подождите, – ответила она.

Громадная фигура прислонилась к притолоке.

– Ладно, подожду.

Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнув ногой дверь, вошел в судомойню.

– Вот этот самый, – сказала Глаша, указывая на Прохора.

Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор:

– За что Павку, брата моего, бил?

Проход хотел освободить плечо, но страшный удар кулака свалил его на пол; он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу.

Испуганные посудницы шарахнулись в сторону.

Артем повернулся и пошел к выходу.

Проходка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу. Артем из депо вечером не вернулся.

Мать узнала: сидит Артем в жандармском отделении.

Через шесть суток вернулся Артем вечером, когда мать спала. Подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково:

– Что, поправился, браток? – Присел рядом. – Бывает и хуже. – И, помолчав, добавил: – Ничего, пойдешь на электростанцию, я уж о тебе говорил. Там делу научишься.

Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема.

Глава вторая

В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть: «Царя скинули!»

В городке не хотели верить.

С приползшего в пургу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника и начальника гарнизона. И в городке поверили. По снежным улицам к площади потянулись тысячи людей.

Жадно слушали новые слова: свобода, равенство, братство.

Прошли дни, шумливые, напоенные возбуждением и радостью. Наступило затишье, и только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорил о происшедшей перемене. Все остальное осталось по-прежнему.

К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с Юго-Западного фронта.

У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный. Офицеры все больше графы да князья, погоны золотые, на рейтузах канты серебряные, всё как при царе, – словно и не было революции.

Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Сережки Брузжака ничего не изменилось. Хозяева остались старые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше из окопных солдат, с чудным прозвищем: «большевики».

Откуда такое название, твердое, увесистое, – никому невдомек.

Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. С фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами.

Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пулеметными трещотками ошарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали.

В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали, и на вокзал воротились, и дальше двинулись эшелон за эшелоном.

Весной тысяча девятьсот восемнадцатого года трое друзей шли от Сережки Брузжака, где резались в «шестьдесят шесть». По дороге завернули в садик Корчагина. Прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия надоели. Начали думать, как бы лучше денек провести. За спиной зацокали копыта лошади, и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул нагайкой лежавшим Павке и Климке:

– Эй, хлопцы мои, сюда!

Павка и Климка вскочили на ноги и подбежали к забору. Всадник был весь в пыли, толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитая на затылок фуражка, защитная гимнастерка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висел наган и две немецкие бомбы.

– Тащите воды попить, ребятки! – попросил всадник и, когда Павка побежал в дом за водой, обратился к глазевшему на него Сережке: – Скажи, паренек, какая власть в городе?

Сережка, торопясь, стал рассказывать приезжему все городские новости:

– Никакой власти у нас нет уже две недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете? – в свою очередь, задал он вопрос.

– Ну, много будешь знать – скоро состаришься, – с улыбкой ответил всадник.

Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой.

Всадник жадно, залпом, выпил ее до дна, передал кружку Павке, рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке.

– Кто это был? – недоуменно спросил Павка Климку.

– Откуда я знаю? – ответил тот, пожав плечами.

– Наверно, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают – значит, придут партизаны, – окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка.

Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка и Климка.

Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору.

Из лесу, из-за дома лесничего, чуть видного ребятам, двигались люди, повозки, а совсем недалеко от шоссе – человек пятнадцать конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое: один – пожилой, в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на груди, а рядом с ним – только что виденный ребятами всадник. На френче у пожилого – красный бант.

– А я что говорил? – толкнул Павку локтем в бок Сережка. – Видишь, красный бант. Партизаны. Лопни мои глаза – партизаны... – И, гикнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу.

Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжавших.

Всадники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и, указав нагайкой на дом Лещинских, спросил:

– Кто в этом доме живет?

Павка, стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал:

– Здесь адвокат Лещинский живет. Вчера сбежал. Вас, видно, испугался...

– Ты откуда знаешь, кто мы такие? – спросил, улыбаясь, пожилой.

Павка, указывая на бант, ответил:

– А это что? Сразу видать...

На улицу высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запыленных, усталых красногвардейцев.

Когда прогромыхало по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулеметами, ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам.

Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим с резными ножками столом сидело четверо: трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков – пожилой, с проседью в волосах.

Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, оттискивая линии, и говорил, обращаясь к сидевшему напротив скуластому, с крепкими зубами:

– Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться, а я думаю – надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача – успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас. Оказывать сопротивление с нашими силами – это же смешно... Одно оружие и тридцать снарядов, двести штыков и шестьдесят сабель – грозная сила... Немцы идут железной лавиной. Драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что кроме немцев мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд. Мое мнение – завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдет два-три дня. По железной дороге их продвижение будет задержано... Вы как думаете, товарищи? Давайте решим, – обратился он к сидящим за столом.

Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и наконец с трудом выдавил застрявшие в горле слова:

– Я... под... держиваю Булгакова.

Самый молодой, в рабочей блузе, согласился:

– Булгаков говорит дело.

И только Ермаченко, тот, что днем говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой:

– На черта же мы тогда отряд собирали? Чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака задавать... Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно. – Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате.

Булгаков неодобрительно посмотрел на него:

– Драться надо с толком, Ермаченко. А бросать людей на верный разгром и уничтожение – этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжелой артиллерией, бронемашинами... Не надо ребячиться, товарищ Ермаченко... – И, уже обращаясь к остальным, закончил: – Итак, решено: завтра утром отходим... Следующий вопрос – о связи, – продолжал совещание Булгаков. – Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь – крупный железнодорожный узел, городишко имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надежный товарищ. Сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры.

– Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай, – сказал Ермаченко, подходя к столу. – Во-первых, Жухрай из здешних мест. Во-вторых, он слесарь и монтер – сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Федора никто не видел – он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек.

Булгаков кивнул головой.

– Правильно, я с тобой согласен, Ермаченко. Вы, товарищи, не возражаете?... – обратился он к остальным. – Нет. Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу... Теперь третий, последний вопрос, товарищи, – произнес Булгаков. – Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок – двадцать тысяч штук, оставшихся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там забытые всеми. Мне сообщил об этом крестьянин – хозяин сарая. Хочет избавиться от них... Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. Я считаю: нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру все было готово. Только поджигать-то опасно: сарай стоит на краю города, среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки.

Крепко сбитый, со щетиной давно не бритой бороды, Стружков шевельнулся:

– За... за... зачем... поджигать? Я д-думаю раз-раздать оружие на-населению.

Булгаков быстро повернулся к нему:

– Раздать, говоришь?

– Правильно. Вот это правильно! – восхищенно воскликнул Ермаченко. – Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет, по крайней мере, чем почесать бока

немцам, когда прижмут до края. Зажимать ведь, как полагается, крепко будут. А когда станет невмоготу, возьмутся ребята за оружие. Стружков правильно сказал: раздать. Хорошо бы даже в деревеньку завезти. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизиловать подчистую, эти винтовочки-то ой как нужны будут!

Булгаков засмеялся:

– Да, но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут!

Ермаченко запротестовал:

– Ну, не все снесут. Кто снесет, а кто и оставит. Булгаков вопросительно обвел глазами сидящих.

– Раздадим, раздадим винтовки, – поддержал Ермаченко и Стружкова молодой рабочий.

– Ну что же, значит, раздадим, – согласился Булгаков. – Вот и все вопросы, – сказал он, вставая из-за стола. – Теперь мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдет ко мне. Я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты.

Оставшись один, Булгаков прошел в соседнюю с гостиной спальню хозяев и, разостлав на матраце шинель, лег.

Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара.

В городке царило необычайное оживление. Это оживление сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его знакомые.

Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке Брузжаку, жившему на другом конце города.

Сережка был сыном помощника машиниста. Его отец имел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая женщина, недовольно посмотрела на Павку:

– А черт его знает, где он! Сорвался чуть свет, носит его нелегкая. Оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, там и есть. Всыпать вам розог надо, сопливым воякам. Распустились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка, а туды же, за оружие. Ты ему, подлецу, скажи: если хоть один патрон в дом принесет, голову оторву! Наташит всякой дряни, а потом отвечай за него... А ты что, тоже туда собрался?

Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамы и выкатился на улицу.

По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке.

– Дядя, скажи, где достал? – подлетел к нему Павка.

– А там, на Верховине, раздают.

Павка помчался что есть духу по указанному адресу. Пробежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тяжелую пехотную винтовку со штыком.

– Где взял ружье? – остановил его Павка.

– Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Всё разобрали. Целую ночь давали, одни ящики пустые лежат. А я вторую несу, – с гордостью закончил мальчишка.

Сообщенная новость страшно огорчила Павку.

«Эх, черт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой! – с отчаянием думал он. – И как это я проморгал?»

И вдруг, осененный мыслью, круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходившего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук.

– У тебя уже одно есть – хватит. А это мне, – тоном, не допускающим возражения, заявил Павка.

Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бросился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад и, выставив вперед штык, крикнул:

– Отскочь, а то наколешься!

Мальчишка заплакал с досады и побежал обратно, ругаясь от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посвистывая, вошел в дом.

Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина – городок, а окраины – крестьянские.

В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах. Дивчата, парубки – все у своих крылечек, в садах, палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками. Смех, песни.

Воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко...

Любит свою гармонь Павка. Любовно ставит на колено певучую двухрядку венскую. Пальцы ловкие – клавиши чуть тронут, пробегут сверху вниз быстро, с перебором. Вздохнут басы, и засыплет гармоника лихую, залиvistую...

Извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься? Не утерпишь – ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника – хорошо жить на свете!

Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах, у дома, где жил Павка, молодежь смешливая, а звонче всех – Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее – альт, грудной, бархатистый.

Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет:

– Эх ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженек для меня был. Люблю гармонистов: тает мое сердце перед ними.

Краснеет Павка до корней волос – хорошо, вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит – не пускает.

– Ну, куда же ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок, – шутит она.

Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнуяще, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу.

Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит:

– Ты мне мешаешь играть, отодвинься.

И снова взрыв хохота, поддразнивания, шутки.

Вмешивается Маруся:

– Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало.

Медленно растягиваются мехи, пальцы тихо перебирают. Знакомая всем, родная мелодия. Галина первая подхватывает ее. За ней – Маруся и остальные.

Зібралися всі бурлаки
до рідної хати,
тут нам мило,
тут нам любо
в журбі заспівати.

И уносятся вдаль, к лесу, звонкие молодые голоса, поющие песню.

– Павка! – Это голос Артема.

Павка сдвигает мехи гармоники, застегивает ремни.

– Зовут, я пошел.

Маруся говорит упрашивающе:

– Ну посиди еще, поиграй немного. Успеешь домой.

Но Павка спешит.

– Нет. Завтра еще поиграем, а сейчас идти надо. Артем зовет. – И бежит через улицу к домику.

Открыв дверь в комнатку, видит – за столом сидит Роман, товарищ Артема, и еще третий – незнакомый.

– Ты меня звал? – спросил Павка.

Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу:

– Вот он самый и есть, братишка мой.

Тот протянул Павке узловатую руку.

– Вот что, Павка, – обратился Артем к брату. – Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придеешь и скажешь.

Незнакомец вмешался:

– Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю.

– Конечно, нужно. Ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибежал – все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. А пускать станцию с одним кочегаром не решился. А монтер тифом заболел.

– Ну вот, дело и сделано, – сказал незнакомец. – Завтра я за тобой зайду, и пойдем вместе, – обратился он к Павке.

– Хорошо.

Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, немигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу, на широкой, крепкой спине был сильно натянут – видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб.

Прощаясь, Артем проговорил:

– Пока всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело.

Немцы вошли в город через три дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, осиротевшей за последние дни. По городу разнеслась весть:

– Немцы идут.

И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе.

Все жители прилипли к заборам, калиткам. На улицу выходить боялись.

А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным, в темно-зеленых мундирах, с винтовками наперевес. На винтовках – широкие, как ножи, штыки. На головах – тяжелые стальные шлемы. За спинами – громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался.

Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посредине шоссе – гетманский старшина, переводчик, в синем украинском жупане⁶ и папахе.

Собрались немцы в каре на площади в центре города. Забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта, майора Корфа.

⁶ Жупан – полукафтан со сборками ниже пояса.

Приказ гласил:

ПРИКАЗЫВАЮ

§ 1

Всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа – расстрел.

§ 2

В городе объявляется военное положение, и хождение после 8 часов вечера воспрещается.

Комендант города майор Корф

В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался Совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой уже не в стальном шлеме, а в парадной каске, с огромным императорским орлом. Тут же, во дворе, было складочное место для сносимого оружия.

Целый день, напуганный угрозой расстрела, обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали.

Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру.

В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего сданных винтовок было четырнадцать тысяч штук. Итак, шесть тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты.

На рассвете следующего дня за городом, у старого еврейского кладбища, были расстреляны двое рабочих-железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки.

... Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечо и тихо, но настойчиво спросил:

– Ты что-нибудь принес домой со склада?

Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось, и все рассказал.

Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балку винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную. Прodelав все это, Артем повернулся к брату:

– Ты уже не маленький, Павка, понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьез говорю – ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнью можно теперь поплатиться. Смотри не обманывай меня, а то принесешь, найдут, меня же первого и расстреляют. Тебя-то, сморкача, трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь?

Павка обещал ничего не носить.

Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лецинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети – Нелли и Виктор.

– Прилетели птички, – злобно проговорил Артем. – Эх, и кутерьма начнется, едят его мухи! – И вошел в дом.

Весь день Павка грустил о винтовке. В это время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец яма была готова. Сережка сложил в нее замотанные в тряпки три новенькие винтовки, добытые им при раздаче. Отдавать их немцам он не собирался – не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей.

Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старогохлама; критически осмотрев результаты своего труда и найдя его удовлетворительным, снял с головы фуражку и вытер со лба пот.

«Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, то чей сарай – неизвестно».

Павка незаметно сблизился с суровым монтером, который уже месяц как работал на электростанции.

Жухрай показывал подручному кочегару устройство динамо и приучал его к работе.

Смышленный мальчишка понравился матросу. Жухрай частенько приходил к Артему по свободным дням. Рассудительный и серьезный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о житье-бытье, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки. Он умел так успокаивающе подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее.

Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции, среди сложенных штабелей дров, и, улыбнувшись, спросил:

– Мать рассказывает, ты драться любишь. «Он у меня, – говорит, – драчливый, как петух». – Жухрай рассмеялся одобрительно. – Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить.

Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил:

– Я зря не дерусь, всегда по справедливости.

Жухрай неожиданно предложил:

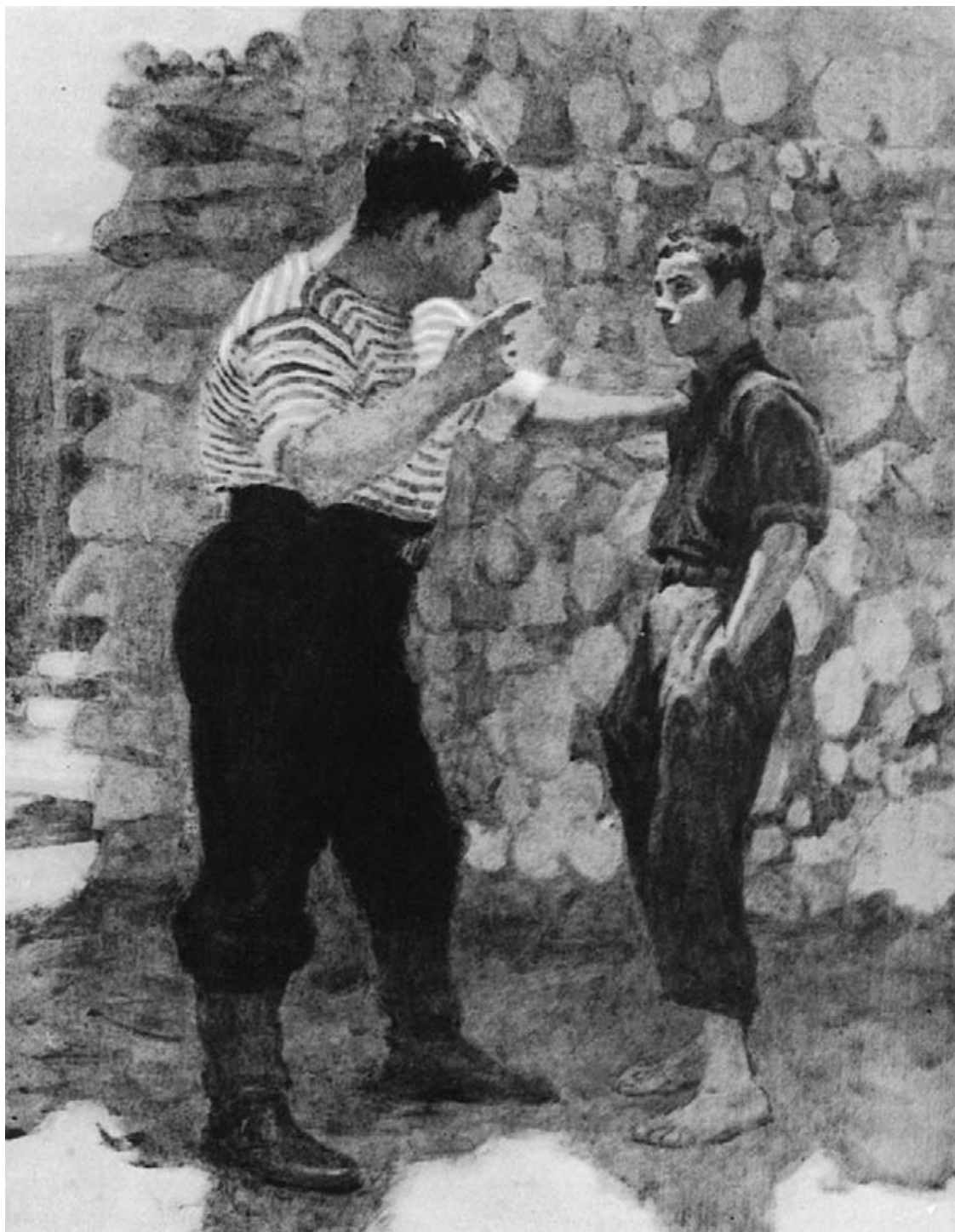
– Хочешь, научу тебя драться по-настоящему?

Павка удивленно на него посмотрел:

– Как так – по-настоящему?

– А вот посмотришь.

И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу.



Нелегко досталась Павке эта наука, но усвоил он ее прекрасно. Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жухрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым.

В один из жарких дней Павка, придя от Климки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко – на крышу сторожки, стоявшей в углу сада, за домом. Он прошел через двор, вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке.

Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и, если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора со стоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у

Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы.

Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно которой выходило в сад и было видно с крыши.

Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился – видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв ее под руку, лейтенант пошел с ней к калитке, и оба вышли на улицу.

Все это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть, когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади.

В открытое окно Павке была хорошо видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее.

Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным «манлихером».

У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но, захлестнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый вороненый револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскрабкавшись быстро, по-обезьяньи, на крышу, Павка оглянулся назад. Денщик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо... Он сполз с сарая и помчался домой.

Мать возилась на кухне, готовя обед, и не обратила на Павку внимания.

Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи помчался к старому, завалившемуся кирпичному заводу.

Ноги едва касались земли, ветер свистел в ушах.

У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрушающиеся обжигные печи наводили тоску. Все здесь поросло бурьяном. И только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище.

Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой.

На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.

Ноги в коленях чуть дрожали.

«Чем все это кончится?» – думал он, и сердце сжималось как-то тягуче-тревожно.

На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал: «Что теперь делается на даче Лещинских?»

Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:

– Почему у вас обыск был сегодня?

Павка испуганно вздрогнул:

– Как – обыск?

Жухрай, помолчав, добавил:

– Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали?

Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:

– Артема арестовали?

– Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном.

От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.

«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего не известно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней», – думал Жухрай.

Разошлись молча к своей работе.

А в усадьбе был большой переполох.

Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.

Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.

Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.

Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.

Глава третья

Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие, стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.

Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы – анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого-лесоведа. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.

Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.

Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.

Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку.

Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.

– Разве здесь рыба ловится?

Павка сердито оглянулся.

Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.

Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды.

А голосок сзади взволнованно:

– Клюет, видите, клюет...

Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.

«Ну, теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту», – раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду – между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало: крючок мог зацепиться за корягу.

Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:

– Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится.

И услышал сверху насмешливое, издевающееся:

– Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыбак!

Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:

– Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли.

Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.

– Разве я вам мешаю?

В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собиравшийся наглубить этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.

– Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко, – согласился он и, присев, опять глянул на поплавок.

Тот прибил к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.

«Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла», – рассуждал он.

Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращающим на нее внимания.

Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет: леса, упираясь, натягивается.

«Зацепилась, проклятая!» – мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку.

Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей – гимназисты-семиклассники. Один – сын начальника депо, инженера Сухарько, белобрысый веснушчатый семнадцатилетний балбес и повеса Рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой, с лихо закушенной папироской. Рядом – Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша.

Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил:

– Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверяю: ро-ман-ти-че-ская особа. В Киеве учится в шестом классе, к отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб стихотвореньице подходящее.

– Ну и что же? – с любопытством спросил Виктор.

Сухарько, немного смущенный, проговорил:

– Да ломается, знаешь, задается. Не порть бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться – долго ухаживать да при-топтывать. Куда лучше, пойдешь вечером в ремонтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближешься. И безо всякого ломанья. Мы с Валькой Тихоновым ходили – ты дорожного мастера знаешь?

Виктор презрительно сморщился:

– Ты занимаешься такой гадостью, Шура?

Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо:

– Подумаешь, чистоплюй какой. Знаем, чем занимаетесь...

Виктор, перебивая его, спросил:

– Так ты меня с этой познакомишь?

– Конечно, идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила.

Приятель уже приближался к Тоне. Вынув папироску изо рта, Сухарько, франтовато изогнувшись, поклонился:

– Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите?

– Нет, наблюдаю, как ловят, – ответила Тоня.

– А вы незнакомы? – заспешил Сухарько, беря Виктора за руку. – Мой приятель, Виктор Лещинский.

Виктор смущенно подал Тоне руку.

– А почему вы сегодня не ловите? – старался завязать разговор Сухарько.

– Я не взяла удочки, – ответила Тоня.

– Я сейчас принесу еще одну, – заторопился Сухарько. – Вы пока половите моей, а я сейчас принесу.

Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем.

– Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят, – ответила Тоня.

– Кому мешать? – спросил Сухарько. – Ах, вот этому? – Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку. – Ну, этого я выставлю отсюда в два счета.

Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившему Павке.

– Сматывай удочки сейчас же, – обратился Сухарько к Павке. – Ну, быстрее, быстрее, – говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить.

Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего:

– А ты потише. Чего губы распустил?

– Что-о-о? – вскипел Сухарько. – Ты еще разговариваешь, рвань несчастная! Пош-шел вон отсюда! – и с силой ударил носком ботинка по банке с червями.

Та перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони.

– Сухарько, как вам не стыдно! – воскликнула она.

Павка вскочил. Он знал, что Сухарько – сын начальника депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы.

Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками, изогнулся, но удержался и не упал в воду.

Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста.

Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя.

– Ах, так! Ну получай! – и коротким взмахом руки влепил Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду.

Стоя по колени в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег.

Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски.

Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему Сухарько, Павка вспомнил: «Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок».

Рррраз!..

Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело, всем телом, плюхнулся в воду.

А на берегу безудержно хохотала Тоня.

– Браво, браво! – кричала она, хлопая в ладоши. – Это замечательно!

Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу.

Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне:

– Это самый отъявленный хулиган, Павка Корчагин.

На станции становилось беспокойно. С линии приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции деповские рабочие заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями⁷ и возвращением помещиков в свои фольварки⁸.

Плетки гетманских стражников⁹ полосовали мужицкие спины. В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками.

Жухрай в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городке проделал большую работу. Познакомился со многими рабочими-железнодорожниками, бывал на вечеринках, где собиралась молодежь, и создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать и Артема. На его вопрос, как Артем смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему:

– Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь. Но помочь, ежели надо будет, всегда готов. Можешь на меня рассчитывать.

Федор и на этом остался доволен – знал, что Артем свой парень, и если что сказал, то и сделает. «А до партии, видать, еще не дошел человек. Ничего, времечко теперь такое, что скоро грамоту пройдет», – думал матрос.

Перешел Федор на работу с электростанции в депо. Удобнее было работать: на электростанции он был оторван от железной дороги.

Движение на дороге было громадное. Немцы увозили в Германию тысячами вагонов все, что награбили на Украине: рожь, пшеницу, скот...

Неожиданно взяла на станции гетманская стража телеграфиста Пономаренко. Били его в комендантской жестоко, и, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема.

⁷ Реквизиция – принудительное изъятие за плату имущества граждан существующей властью.

⁸ Фольварк – небольшая усадьба, поместье (пол.).

⁹ Гетманские стражники – здесь: отряды бывшего гвардейского офицера Скоропадского, который в 1918 году объявил себя гетманом «независимой» Украины. Скоропадский являлся ставленником германского командования.

За Романом пришли во время работы два немца и гетманец – помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, гетманец, не говоря ни слова, ударил его нагайкой по лицу.

– Идем, сволочь, за нами! Там поговорим кой о чем, – сказал он. И, жутко ослабившись, рванул слесаря за рукав. – Там у нас поагитируешь!

Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающуюся злобу, прохрипел:

– Как смеешь бить, гад?

Гетманец попятился, отстегивая кобуру револьвера. Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжелую винтовку с широким штыком и лягнул затвором.

– Хальт¹⁰! – пролаял он, готовый выстрелить при первом движении.

Верзила слесарь беспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать.

Забрали обоих. Артема через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале.

Через десять минут в депо никто не работал. Дёповские собрались в станционном саду. К ним присоединились другие рабочие, стрелочники и работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Пономаренко.

Возмущение еще более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец, размахивая револьвером, закричал:

– Если не пойдете, сейчас же на месте всех переарестуем! А кое-кого и к стенке поставим.

Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванных комендантом станции.

Рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурный по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции.

Немцы установили на перроне тяжелый пулемет. Он стоял, как легавая собака на стойке. Положив руку на рукоять, на корточках около него сидел немецкий капрал.

Вокзал обезлюдел.

Ночью начались аресты. Забрали и Артема. Жухрай дома не ночевал, его не нашли.

Собрали всех в громадном товарном пакгаузе и выставили ультиматум: возврат на работу или военно-полевой суд.

По линии бастовали почти все рабочие-железнодорожники. За сутки не прошел ни один поезд, а в ста двадцати километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты.

Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона на станции ожидали очереди на отправление еще два состава.

Открыв тяжелые двери пакгауза, вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев.

Помощник коменданта вызвал:

– Корчагин, Политовский, Брузжак. Вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ – расстрел на месте. Едете?

Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав.

... Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи. Артем, набросав в топку угля, захлопнул ногой

¹⁰ Хальт – стой (нем.).

железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курного чайника глоток воды и обратился к старику машинисту Политовскому:

– Везем, говоришь, папаша?

Тот сердито мигнул из-под нависших бровей:

– Да, повезешь, ежели тебя штыком в спину.

– Бросить все и тикать с паровоза, – предложил Брузжак, искоса поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата.

– Я тоже так думаю, – буркнул Артем, – да вот этот тип за спиной торчит.

– Да... – неопределенно протянул Брузжак, высовываясь в окно.

Подвинувшись поближе к Артему, Политовский тихо прошептал:

– Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их порешат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнь рисковали, а все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак не возможно. Как ты думаешь?

– Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим? – И он взглядом показал на солдата.

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипью отчаяния, выругался.

Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться. Артему вспомнилось Жухраево: «Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?»

И его, Артема, ответ: «Помочь всегда готов, можешь на меня положиться...»

«Хороша помощь – везем карателей...»

Политовский, нагнувшись над ящиком с инструментом бок о бок с Артемом, с трудом выговорил:

– А этого надо порешить. Понимаешь?

Артем вздрогнул. Политовский, скрипнув зубами, добавил:

– Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги в печку, паровоз на снижающий ход – и с паровоза долой.

И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал:

– Ладно.

Артем, нагнувшись к Брузжаку, рассказал помощнику о принятом решении.

Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейным был Политовский: у него дома оставалось девять душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя.

– Что ж, я согласен, – сказал Брузжак, – но кто ж его... – Он не договорил понятную для Артема фразу.

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Брузжак тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешенным вопросом, подвинулся к Политовскому ближе:

– Но как же мы это сделаем?

Тот посмотрел на Артема:

– Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок – и кончено. – Старик сильно волновался.

Артем нахмурился:

– У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнажи.

Политовский блеснул глазами:

– Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карательный везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те что, виноваты?... Эх ты, сиромеха¹¹... Здоров, как медведь, а толку с тебя мало...

– Ладно, – прохрипел Артем, беря лом.

Но Политовский зашептал:

– Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой. А я вроде уголь разбивать пойду.

Брузжак кивнул головой:

– Верно, старик. – И стал у регулятора.

Немец в суконной бескозырке с красным околышком сидел с края на тендере, поставив между ног винтовку, и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих.

Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Политовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз, к дверке, ведущей в будку паровоза.

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход.

Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка.

– Кончено, – прошептал Политовский, бросая лом, и, судорожно покривившись, добавил: – Теперь для нас заднего хода нет.

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик.

– Вывинчивай регулятор, живей! – крикнул он.

Через десяток минут все было сделано. Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход.

Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую темь. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натывались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже.

– Прыгай, сынок! – услышал Артем за собой голос Политовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову.

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени.

В доме Брузжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. От мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Политовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо, с ругательствами допрашивали ее.

Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и, когда ушла стража, женщина, мучимая тяжелой неизвестностью, повязала платок, собираясь идти к Марии Яковлевне, надеясь у нее узнать о муже.

Старшая дочь, Валя, прибиравшая на кухне, увидев уходившую мать, спросила:

– Ты далеко, мама?

Антонина Васильевна, взглянув на дочь полными слез глазами, ответила:

– Пойду к Корчагиным. Может, узнаю у них про отца. Если Сережка придет, то скажи ему: пусть на станцию сходит к Политовским.

¹¹ Сиромеха – бедняга, бесприютный (укр).

Валя, тепло обняв за плечи мать, успокаивала ее, провожая до двери:

– Ты не тревожься, мама.

Мария Яковлевна встретила Брузжак, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла.

У Корчагиных ночью тоже был обыск. Искали Артема. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернется сын, сейчас же сообщить в комендатуру.

Корчагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна: Павел, как всегда, ночью работал на электростанции.

Павка пришел рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артема, он почувствовал, как все его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь, без признаний, и Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебания, если б она была нужна брату.

Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать Жухрая, но не нашел его, а от знакомых рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших. Не знала ничего и семья машиниста Политовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Политовского. От него он узнал, что ночью был обыск и у Политовских. Искали отца.

Так ни с чем и вернулся Павка к матери, устало завалился на кровать и сразу потонул в беспокойной сонной зыби.

Валя оглянулась на стук в дверь.

– Кто там? – спросила она и откинула крючок.

В открытой двери появилась рыжая всклокоченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега.

– Мама дома? – спросил он Валю.

– Нет, ушла.

– А куда ушла?

– Кажется, к Корчагиным. – Валя задержала за рукав собравшегося было бежать Климку.

Тот нерешительно посмотрел на девушку:

– Да так, знаешь, дело у меня к ней есть.

– Какое дело? – затормошила парня Валя. – Ну, говори же скорей, медведь ты рыжий, говори же, а то тянет за душу! – повелительным тоном командовала девушка.

Климка забыл все предостережения, категорический приказ Жухрая передать записку только Антонине Васильевне лично, вытащил из кармана замусоленный клочок бумажки и подал его девушке. Не мог отказать он этой белокурой сестренке Сережки, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами в своих отношениях к этой славной девчурке. Правда, скромный поваренок ни за что не признался бы даже самому себе, что ему нравится сестренка Сережи. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла:

«Дорогая Тоня! Не беспокойся. Все хорошо. Живы и невредимы.

Скоро узнаешь больше. Передай остальным, что все благополучно, чтоб не тревожились. Записку уничтожь.

Захар».

Прочитав записку, Валя бросилась к Климке:

– Рыжий медведь, миленький мой, где ты достал это? Скажи, где ты достал, косолапый медвежонок? – И она изо всех сил тормошила растерявшегося Климку.

И он не опомнился, как сделал вторую оплошность:

– Это мне Жухрай на станции передал. – И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил: – Только он сказал: никому не давать.

– Ну хорошо, хорошо! – засмеялась Валя. – Я никому не скажу. Ну беги, рыженький, к Павке, там и мать застанешь.

Она легонько подталкивала поваренка в спину. Через секунду рыжая голова Климки мелькнула за калиткой.

Никто из троих домой не возвращался. Вечером Жухрай пришел к Корчагиным и рассказал Марии Яковлевне обо всем происшедшем на паровозе. Успокоил как мог испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко, в глухом селе, у дядьки Брузжака, что они там в безопасности, но возвращаться им сейчас, конечно, нельзя, но что немцам туго, можно ожидать в скором будущем изменения.

Все происшедшее еще более сдружило семьи уехавших. С большой радостью читались редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустынное и тише.

Зайдя как-то раз как бы невзначай к старухе Политовской, Жухрай передал ей деньги:

– Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите, ни слова никому.

Старуха благодарно пожала ему руку:

– Вот спасибо, а то совсем беда, есть ребятам нечего.

Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков.

«Ну, ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка хотя и сорвалась, под страхом расстрела рабочие хотя и работают, но огонь загорелся, его уже не потушишь, а те трое – молодцы, это пролетарии», – с восхищением думал матрос, шагая от Политовских к депо.

В старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге на отшибе села Воробьева Балка, у огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, Политовский длинными щипцами ворочал уже накалившийся докрасна кусок железа.

Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи.

Машинист, добродушно усмехаясь себе в бороду, говорил:

– Мастеровому на селе сейчас не пропасть: работа найдется, хоть завались. Вот подработай недельку-другую, и, пожалуй, салца и мучицы своим послать сможем. У мужичка, сынок, кузнец всегда в почете. Откормимся здесь, как буржуи, хе-хе. А Захар-то – особь статья, он больше по крестьянству придерживается, закопался в землю с дядькой своим. Что ж, оно, пожалуй, понятно. У нас с тобой, Артем, ни кола ни двора, горб да рука, как говорится – вековая пролетария, хе-хе, а Захар пополам разделился: одна нога на паровозе, другая в деревне. – Он потрогал щипцами раскаленный кусок железа и добавил уже серьезно, задумчиво: – А наше дело табак, сынок. Ежели немцев не попрут вскорости, придется нам в Екатеринослав аль в Ростов наворачивать, а то возьмут за жабры и подвешат между небом и землей, как пить дать.

– Да, – пробурчал Артем.

– Как наши там держатся, не пристают ли к ним гайдамаки?

– Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома отрекайся.

Машинист выхватил из горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню.

– А ну, сыночек, стукни!

Артем схватил тяжелый молот, стоявший у наковальни, с силой взмахнул им над головой и ударил. Сноп ярких искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновение ее темные углы.

Политовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размякший воск.

В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь.

Озеро внизу – темное, громадное, сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами.

«Как живые», – думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножия отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными.

Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах, забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукою ветви, смотрит вниз: от берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись. Тоня опустила ветку.

«Ведь это неприлично», – насмешливо подумала она и принялась за чтение.

Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и, только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и, тоже смущенный, собирался уйти.

«Это он сейчас купался», – догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы.

– Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда. – И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню.

– Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь.

Павка с удивлением глядел на Тоню:

– О чем же мы с вами говорить будем?

Тоня улыбнулась:

– Ну, чего же вы стоите? Можете сесть, вот здесь. – И она указала на камень. – Скажите, как вас зовут?

– Я Павка Корчагин.

– А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились.

Павка смущенно мямлил кепку.

– Так вас зовут Павкой? – прервала молчание Тоня. – А почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите... – она хотела сказать «купаться», но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила: – Гулять?

– Нет, не часто, как случается свободное время, – ответил Павел.

– А вы где-нибудь работаете? – допытывалась Тоня.

– Кочегаром на электростанции.

– Скажите, где вы научились так мастерски драться? – задала вдруг неожиданный вопрос Тоня.

– А вам-то что до моей драки? – недовольно буркнул Павел.

– Вы не сердитесь, Корчагин, – проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом. – Меня это очень интересует. Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно. – И она расхохоталась.

– А вам что, жалко? – спросил Павел.

– Ну, нет, вовсе не жалко, наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь.

– Кто говорит? – насторожился Павел.

– Ну, вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка.

Павел потемнел:

– Виктор – сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слышал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать...

– Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо, – перебила его Тоня.

Павел нахохлился.

«Какого лешего я с этой чудачкой разговариваю? Ишь, командует: то ей „Павка“ не нравится, то „не ругайся“,» – думал он.

– Почему вы злы на Лещинского? – спросила Тоня.

– Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство плевать; ежели затронет как-нибудь, то сразу получит все сполна. Таких кулаком и учить, – говорил он возбужденно.

Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более спокойную тему: начала расспрашивать Павла о его семье и работе.

Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти.

– Скажите, почему вы не учились дальше? – спросила Тоня.

– Меня из школы выперли.

– За что?

Павка покраснел.

– Я попу в тесто махры насыпал – ну, меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было. – И Павел обо всем рассказал ей.

Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат; никто из них и не заметил, как в дружеской, оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил:

– Ведь мне на работу уже пора. Вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данило волюнку подымет. – И он беспокойно заговорил: – Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город.

Тоня быстро поднялась, надевая жакет:

– Мне тоже пора, пойдемте вместе.

– Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки.

– Почему? Мы побежим вместе, вперегонку: посмотрим, кто быстрее.

Павка пренебрежительно посмотрел на нее:

– Вперегонку? Куда вам со мной!

– Ну, увидим, давайте сначала выберемся отсюда.

Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции.

Тоня остановилась у середины дороги:

– Ну, сейчас побежим: раз, два, три. Ловите! – И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, синий жакет развевался от ветра.

Павел помчался за ней.

«В два счета догоню», – думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи.

– Есть, попалась птичка! – закричал весело, задыхаясь.

– Пустите, больно, – защищалась Тоня.

Стояли оба запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось.

– Меня никто догнать не мог, – говорила она, освободившись от его рук.

Сейчас же расстались. И, махнув на прощанье кепкой, Павел побежал в город.

Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данило, кочегар, сердито обернулся:

– Ты бы еще позднее пришел. Что, я за тебя растапливать буду, что ли?

Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал:

– В один момент, старик, топка будет в ходу. – И завожился у сложенных в штабеля дров.

К полуночи, когда Данило, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облизав с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика шестьдесят второй выпуск «Джузеппе Гарибальди», углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских краснорубашечников Гарибальди¹².

«Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами...»

«А у этой тоже синие глаза, – вспомнил Павел. – Она особенная какая-то, на тех, богатыньких, не похожа, – думал он, – и бегают как черт».

Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя; тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно вздрагивала.

Павка метнул взглядом на манометр: стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию.

– Ах ты, черт! – сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо,двигающее насос.

Павел оглянулся на Данилу; тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки.

Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место.

... Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей и, сама того не сознавая, была рада ей.

«Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнтявых гимназистов...»

Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась.

«Его можно приручить, – думала она, – и это будет интересная дружба».

Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, видимо, ожидали ее.

Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого, легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил:

– Вы прочли роман?

– Ах да, роман! – спохватилась Тоня. – А я его... – Она чуть не сказала, что книга забыта у озера.

– Ну, как он вам понравился? – Виктор внимательно посмотрел на нее.

Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него:

– Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли.

– Вот как, – обиженно протянул Виктор. – А кто автор? – спросил он.

Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами:

¹² *Неаполитанские краснорубашечники Гарибальди* – добровольцы, носившие в качестве формы красную рубашку, составляли войска Гарибальди; Гарибальди (1807–1882) отважный борец за национальное объединение Италии и освобождение ее от австрийского владычества.

– Никто...

– Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай! – позвала стоявшая на балконе мать Тони.

Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому. А Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла.

Первое, еще не осознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно волнующе. Оно встревожило озорного, мятежного парня.

Была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно, что адвокат Лещинский.

Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым.

К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской: он не считал Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, кочегару, со стороны этой красивой и образованной девушки.

Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку.

Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору. Весело улыбнулась, подавая ему руку.

– Наконец-то вы пришли, – обрадованно сказала она. – Где пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, к нам в сад.

Павка отрицательно махнул головой:

– Не пойду.

– Почему? – Брови ее удивленно поднялись.

– Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела?

– Вы чепуху говорите, Павел, – рассердилась Тоня. – Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет, вот вы сами увидите. Идемте.

Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней.

– Вы любите читать книги? – спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол.

– Очень люблю, – оживился Павел.

– Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?

Павел, подумав, ответил:

– «Джузеппа Гарибальди».

– «Джузеппе Гарибальди», – поправила Тоня. – Вам очень нравится эта книга?

– Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел, каждую полочку покупаю по пять штук. Вот человек был Гарибальди! – с восхищением произнес Павел. – Вот герой! Это я понимаю! Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал! Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился.

– Хотите, я вам покажу нашу библиотеку? – сказала Тоня и взяла его за руку.

– Ну нет, в дом не пойду, – наотрез отказался Павел.

– Отчего вы упрямитесь? Или боитесь?

Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок:

– А меня мамаша или отец не попрут оттуда?

– Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь! – вспылила Тоня.

– Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила, – наверное, чтобы я им ковры не попортил, черт ее знает, – улыбнулся Павка.

– Идем, идем. – Она взяла его за плечи и дружески втокнула на балкон.

Проведя его через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству.

– Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обещайте приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо?

Павка радостно кивнул головой:

– Я книжки люблю.

Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась. Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники.

У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала:

– Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?

– Я их начистую снимаю, когда отрастают. Что больше с ними делать? – неловко оправдывался Павка.

Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри.

– Вот сейчас совсем другое, – говорила она, оглядывая Павла. – А волосы надо красиво подстричь, а то вы как бирюк ходите.

Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылинявшую рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала.

Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд.

Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом. И взяла с него слово прийти через два дня вместе удить рыбу.

В сад Павел выбрался одним махом через окно: проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось.

С отсутствием Артема в семье Корчагина стало тужо: заработка Павла не хватало.

Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует ли ей опять приниматься за работу, кстати, Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал:

– Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой, а ты уже не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать.

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась.

На другой день Павел уже работал на лесопилке: раскладывал для просушки свеженатопленные доски.

Встретил там знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в школе, и Кулишова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию.

К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и наконец попросил:

– Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю, – помнишь, как у меня в прошлом году была. На это половина денег пойдет, а я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот эта уже старая, – оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу.

– Конечно, конечно, куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой. – Она ласково глядела на сына.

Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь.

Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло:

– Садитесь.

Усевшись в глубокое, удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию.

– Под машинку? – спросил парикмахер.

– Да, то есть нет, в общем подстригите. Ну, как это у вас называется? – и сделал отчаянный жест рукой.

– Понимаю, – улыбнулся парикмахер.

Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали.

На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку.

«Что мать скажет, когда увидит?»

Ловить рыбу, как обещал, Павел не пришел, и Тоню это обидело.

«Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар», – с досадой думала она, но, когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно.

Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала:

– К тебе, Тонечка, гости. Можно?

В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала.

На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и – что сразу заметила Тоня – он был подстрижен, волосы не торчали космами, как раньше, – и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены.

Она принялась было укорять его:

– Как вам не стыдно! Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите?

– Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти.

Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения.

Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно.

– Идемте гулять к пруду, – предложила она.

И они пошли в сад, а оттуда на дорогу.

И уже как другу, как большую тайну, рассказал Тоне об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять.

– Смотри, ты меня не выдай, – неожиданно сказал он ей «ты».

– Я тебя никогда никому не выдам, – торжественно обещала Тоня.

Глава четвертая

Острая, беспощадная борьба классов захватывала Украину.

Все большее и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников.

Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни.

Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям.

Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков: маленькие и большие батки, разные Голубы, Архангелы, Ангелы, Гордии и нескончаемое число других бандитов.

Бывшее офицерье, правые и левые украинские эсеры – всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, иногда развертывал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей.

Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадного корпуса атамана Коновальца, создавал свои полки и дивизии «головный атаман Петлюра»¹³. В эту эсеровско-кулацкую муть стремительно врывались красные партизанские отряды, и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок.

В тот апрель мятежного девятнадцатого года насмерть перепуганный, обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа:

– Автоном Петрович, какая власть в городе?

И Автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался:

– Не знаю, Афанас Кириллович. Ночью пришли какие-то. Посмотрим: ежели евреев грабить будут, то, значит, петлюровцы, а ежели «товарищи», то по разговору слышать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, чтобы не влипнуть в историю, а то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед, недосмотрел хорошо, да возьми и вывеси Ленина, а к нему как наскочат трое: оказывается, из петлюровского отряда. Как глянут на портрет, да за хозяина! Всыпали ему, понимаете, плеток с двадцать. «Мы, – говорят, – с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, семь шкур сдерем». Уж он как ни оправдывался, ни кричал – не помогло.

Замечая кучки вооруженных, шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался. Не ровен час...

А рабочие с затаенной ненавистью смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой волны самостийного шовинизма¹⁴, оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбивавшиеся от обступивших со всех концов жовто-блакитников¹⁵. День-другой алело родное знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять.

Сейчас хозяин города – полковник Голуб, «краса и гордость» Заднепровской дивизии.

Вчера его двухтысячный отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном вороном жеребце и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке с малиновой «китыцей»¹⁶, в черкеске с полным вооружением: кинжал, сабля чеканного серебра.

Красив был полковник Голуб: брови черные, лицо бледное, с легкой желтизной от бесконечных попоек. В зубах люлька. Был пан полковник до революции агрономом на плантациях сахарного завода, но скучна эта жизнь, не сравнять с атаманским положением, и выплыл агроном в мутной стихии, загулявшей по стране, уже паном полковником Голубом.

¹³ *Головний атаман Петлюра*. – Головний – главный (укр.); Петлюра (1879–1926) – один из руководителей украинского сепаратистского движения 1917–1920 гг.

¹⁴ *Самостийный шовинизм* – проповедь травли и угнетения других народов, характерная для украинских контрреволюционеров, требовавших превратить Украину в буржуазную республику.

¹⁵ *Жовто-блакитный* (укр.) – желто-голубой.

¹⁶ *Китыця* – кисточка (укр.).

В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь «цвет» петлюровской интеллигенции присутствовал на нем: украинские учителя, две поповские дочери: старшая – красавица Аня, младшая – Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого, и куча мещан, называвшая себя «вильным казацтвом», украинские эсеровские последыши.

Театр был битком набит. Одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами, с разноцветными бусами и лентами, учительницы, поповны и мещаночки были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старых картин, изображавших запорожцев.

Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке «Назара Стодоли»¹⁷.

Не было электричества. Пану полковнику доложили об этом в штабе. Он, собиравшийся лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта, хорунжего Паляныцю, а по-настоящему – бывшего подпоручика Полянцева, бросил небрежно, но властно:

– Чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию.

– Слушаюсь, пане полковнику.

Хорунжий Паляныця не умер и монтеров достал.

Через час двое петлюровцев вели Павла на электростанцию. Таким же образом доставили монтера и машиниста.

Паляныця сказал коротко:

– Если до семи часов не будет света, повешу всех троих! – Он указал рукой на железную штангу.

Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет.

Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой, с ржаными волосами девицей. Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города.

Усевшись на почетные места, у самой сцены, пан полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убежавшего со сцены режиссера.

Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим Паляныцей, и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели.

Вскочивший на сцену Паляныця театрально взмахнул рукой и провозгласил:

– Шановни добродии, зараз почнем танци¹⁸.

В зале дружно заплотировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизованным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал.

Через полчаса в театре шел дым коромыслом.

Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра.

В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных.

На околице петлюровская застава с пулеметом, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик:

– Стой! Кто идет?

Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала:

¹⁷ «Назар Стодоля» – драма классика украинской литературы Т. Г. Шевченко (1814–1861).

¹⁸ *Шановни добродии, зараз почнем танци* – уважаемые господа, сейчас начнем танцы (укр.).

– Я – атаман Павлюк со своим отрядом, а вы – голубовские?

– Да, – ответил вышедший вперед старшина.

– Где мне разместить отряд? – спросил Павлюк.

– Я сейчас спрошу по телефону штаб, – ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги.

Через минуту выбежал оттуда и приказал:

– Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману.

Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье.

– Ого, тут весело, – сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним есаулу. – Слезем, Гукмач, и мы гульнем кстати. Баб подберем себе подходящих, здесь их до черта. Эй, Сталержко, – крикнул он, – разместить хлопцев по квартирам! Мы тут остаемся. Конвой со мной. – И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю.

У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев:

– Билет?

Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулось человек двенадцать из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора.

Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк, в офицерском, хорошего сукна, френче, в синих гвардейских штанах и в мохнатой папаче. Через плечо – маузер, из кармана торчит ручная граната.

– Кто это? – зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал залихватскую метелицу помощник Голуба.

В паре с ним кружилась старшая поповна. Взметнувшиеся вверх веером юбки открывали восхищенным воякам шелковое трико не в меру расходившейся поповны.

Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг.

Павлюк мутным взглядом вперился на ноги поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой:

– Жарь гопака!

Дирижирующий оркестром не обратил на это внимания.

Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил как ужаленный.

Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих.

– Это наглость! – вскипела дочь буфетчика. – Ты не должен этого позволить, – нервно жала она локоть сидевшего рядом Голуба.

Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у Голуба еще не сведенные счета с этим конкурентом на власть в уезде.

Неделю тому назад Павлюк подставил пану полковнику ножку самым свинским образом.

В разгар боя с красным полком, который не впервой трепал голубовцев, Павлюк, вместо того чтобы ударить большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало «щирому»¹⁹ петлюровцу, погром коснулся еврейского населения.

Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли.

А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что, если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен.

¹⁹ *Щирый* – истинный, подлинный (укр.).

Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча.

Крепко зажав в руке рукоять сабли и другой нащупывая в кармане наган, Голуб гаркнул:

– Как ты смеешь бить моих людей, подлец?

Рука Павлюка медленно поползла к кобуре маузера.

– Легче, пане Голуб, легче, а то можно сбиться с каблука. Не наступайте на любимый мозоль – осержусь.

Это переполнило чашу терпения.

– Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по двадцать пять горячих! – прокричал Голуб.

На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины.

Охнул, как брошенная об пол электролампочка, чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьи стаи, дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватали за чубы и прямо за горло, а от сцепившихся шарахались с поросычьим визгом насмерть перепуганные женщины.

Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу.

Павлюк потерял в драке папаху, ему расквасили лицо, разоружили, – он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице.

Вечер был сорван. Никому не приходило на ум веселиться после всего происшедшего. Женщины наотрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но Голуб стал на дыбы.

– Никого из зала не выпускать, поставить часовых, – приказал он.

Паляныця поспешно выполнял приказания.

На посыпавшиеся протесты Голуб упрямо отвечал:

– Танцы до утра, шановни добродийки и добродии. Я сам танцую первый тур вальса.

Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось. Не успел полковник пройти с поповной один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали:

– Театр окружают павлюковцы!

Окно у сцены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась удивленная морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала.

Паляныця выстрелил в тысячесвечовую лампу в потолке, и та, лопнув, как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла.

Стало темно. С улицы кричали:

– Выходи все во двор! – и неслась жуткая брань.

Дикие, истерические крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу Голуба, ставшего собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе – все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший व्यюном Паляныця, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу.

Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи всколыхнул непрерывный грохот выстрелов, мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей – прилипли к окнам.

Выстрелы стихают, только на краю города отрывисто, по-собачьи, лает пулемет.

Бой утихает, брезжит рассвет...

Слухи о погроме ползли по городку. Заползли они и в еврейские домишки, маленькие, низенькие, с косоглазыми оконцами, примостившиеся каким-то образом над грязным обрывом, идущим к реке. В этих коробках, называющихся домами, в невероятной тесноте жила еврейская беднота.

В типографии, в которой уже второй год работал Сережа Брузжак, наборщики и рабочие были евреи. Сжился с ними Сережа, как с родными. Дружной семьей держались все против

хозяина, отъезжегося, самодовольного господина Блюмштейна. Между хозяином и работавшими в типографии шла непрерывная борьба. Блюмштейн норовил урвать побольше, заплатить поменьше, и на этой почве не раз закрывалась на две-три недели типография: бастовали типографщики. Было их четырнадцать человек. Сережа, самый младший, вертел по двенадцати часов колесо печатной машины.

Сегодня Сережа заметил беспокойство рабочих. Последние тревожные месяцы типография работала от заказа к заказу. Печатали воззвания «головного» атамана.

Сережу отозвал в угол чахоточный наборщик Мендель.

Смотря на него своими грустными глазами, он сказал:

– Ты знаешь, что в городе будет погром?

Сережа удивленно посмотрел:

– Нет, не знаю.

Мендель положил высохшую, желтую руку на плечо Сережи и по-отцовски доверчиво заговорил:

– Погром будет, это факт. Евреев будут избивать. Я тебя спрашиваю: ты хочешь помочь своим товарищам в этой беде или нет?

– Конечно, хочу, если смогу. Говори, Мендель.

Наборщики прислушивались к разговору.

– Ты славный парень, Сережа, мы тебе верим. Ведь твой отец тоже рабочий. Побег сейчас домой и поговори с отцом: согласится ли он к себе спрятать несколько стариков и женщин, а мы заранее договоримся, кто у вас прятаться будет. Потом поговори с семьей, у кого еще можно спрятать. Русских эти бандиты пока не трогают. Беги, Сережа, время не терпит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.